

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Сын привратника



Генеральская семья проживала в бельэтаже^[1], семья привратника в подвале. Их разделяло большое расстояние – весь первый этаж, да табель о рангах. Но всё же обе семьи жили под одною крышею, и из обоих жилищ открывался вид на улицу и во двор. На дворе была лужайка, а на ней росла цветущая акация – цветущая в пору цветения. Под нею часто сживала в летнее время разряженная мамка с ещё более разряженною генеральскою дочкой, «малюткой Эмилией». А перед ними выплясывал босоногий, черноглазый, тёмноволосый сынишка привратника. Малютка улыбалась ему и протягивала ручонки; случалось увидеть в окно такую картинку самому генералу, он кивал головой и говорил: «Charmant!» Молодая же генеральша – она была так молода, что могла бы быть дочкой своего мужа от раннего брака – никогда не смотрела из окна во двор, но раз навсегда отдала мамке приказание, чтобы она позволяла мальчику из подвала забавлять малютку, но отнюдь не дотрагиваться до неё. И мамка строго соблюдала приказ.

А солнышко одинаково светило и в бельэтаж, и в подвал; акация цвела, потом цветы опадали, но на следующий год появлялись новые. Дерево цвело из года в год, цвёл и привратников

сынишка, – ни дать, ни взять свежий тюльпан!

Генеральская же дочка была бледненькая, нежненькая, как бледно-розовый лепесток акации. Теперь она редко появлялась во дворе под деревом, – она дышала свежим воздухом в карете, катаясь вместе с татап. Увидя из окна кареты привратникова Георга, она всегда кивала ему головкою и даже посылала воздушные поцелуи, пока мать не объявила ей, что она уже слишком велика для этого.

Раз утром Георгу пришлось подняться к генералу с газетами и письмами. Проходя мимо чуланчика под лестницей, он услышал там какой-то писк и подумал было, что туда забился цыплёнок. Но оказалась, что там всхлипывает генеральская дочка в кисее и кружевах.

– Только не говори папе и маме, – они рассердятся! – сказала она.

– О чём барышня? – спросил Георг.

– Всё сгорит! – ответила она. – Там горит!

Георг отворил дверь в детскую; оконные занавески почти все обгорели, карниз пылал. Георг подпрыгнул, сорвал занавески, созвал людей. Не будь его, вспыхнул бы настоящий пожар.

Генерал и генеральша подвергли Эмилию допросу.

– Я только взяла одну спичку, чиркнула, она сейчас загорелась и занавеска тоже! Я стала плевать на неё, чтобы потушить, плевала, плевала, но у меня не хватило слюней... Тогда я убежала и спряталась, – я боялась, что рара и татап рассердятся!

– Плевала, плевала! – заметил генерал. – Это ещё что за слово? Ты его слышала когда-нибудь от рара или от татап? Это всё оттуда, из подвала!

Маленькому Георгу всё-таки дали целых четыре скиллинга. Он спустил их не в булочной, а в копилку, и скоро там набралось их столько, что он мог купить себе ящичек с красками – раскрашивать свои рисунки, а рисовал он много. Картинки как будто сами собой сыпались на бумагу с кончика его карандаша. Первые же раскрашенные рисунки пошли в подарок Эмилии.

– Charmant! – изрёк генерал, и даже генеральша была принуждена сознаться, что можно догадаться, что именно хотел изобразить мальчуган. «В нём есть талант!» Вот с каким известием

вернулась в подвал жена привратника.

Генерал и генеральша были люди знатные; на карете их красовалось целых два герба, – у каждого из супругов был свой. Генеральшин герб красовался и на всём её белье, даже на ночном чепчике и туалетном мешке. Её герб был такой драгоценный! Он стоил её папаше много блестящих червонцев, – ни папаша, ни даже дочка не родились с гербом; она появилась на свет за семь лет до приобретения его папашею. Это отлично помнили все, кроме их самих. Герб же генерала был древний и крупный. И один-то герб довольно тяжело носить на себе, а тут их было целых два, – поневоле затрепишь по всем швам! И немудрено, что разряженная, гордая генеральша выезжала на придворные балы с таким шумом и треском.

Генерал был стар и сед, но хорошо держался на седле. Он это знал и ежедневно выезжал верхом в сопровождении слуги – на почтительном расстоянии. Являясь в общество, он тоже держал себя так, как будто смотрел на всех с высоты седла. Орденов у него было столько, что просто уму непостижимо; сам он, впрочем, был тут ни при чём. Он вступил на военное поприще ещё очень молодым человеком и участвовал во всех больших осенних маневрах за мирное время. От этой эпохи у него сохранялось ещё воспоминание, анекдот, единственный, который он знал и рассказывал. Его унтер-офицер отрезал и взял в плен одного из принцев, и этому пришлось со своим маленьким отрядом въехать в город позади генерала в качестве его военнопленного. Об этом-то незабвенном происшествии генерал и рассказывал вот уже многие годы, никогда не забывая привести памятные слова, которые были при этом сказаны. Генерал, возвращая принцу шпагу, сказал: «Только мой унтер-офицер мог взять в плен Ваше Высочество; я – никогда!» А принц ответил: «Вы несравненны!» На настоящей же войне генерал никогда не бывал; когда шла война, он шёл дипломатическою дорогой и прошёл три иностранных двора. По-французски он говорил так хорошо, что почти забыл свой родной язык, отлично танцевал, ездил верхом, и ордена вырастали у него на груди, точно грибы. Солдаты отдавали ему честь, и одна из первых красавиц отдала ему честь – сделалась генеральшею. Скоро у них появилась прелестная дочка, словно

упавшая с неба – так она была прелестна! Едва она начала понимать, сынишка привратника стал выплясывать перед нею во дворе, а потом, когда она подросла, дарить ей все свои раскрашенные картинки. Она принимала их, играла ими и рвала в клочки. Она была такая миленькая, нежненькая!

– Мой розовый лепесток! – говорила генеральша. – Ты рождена для принца!

А принц-то уж стоял за дверями, только никто не знал этого. Люди не видят дальше порога.

– А намедни наш мальчуган поделился с нею бутербродом! – сказала жена привратника. – Он был без сыра, без мяса, но понравился ей, что твой бифштекс! То-то бы Содом поднялся, узнай об этом генерал с генеральшею! Но они не узнали!

Да, Георг поделился с Эмилией бутербродом; он бы поделился с ней и своим сердцем, знай только, что это доставит ей удовольствие. Он был мальчик добрый, развитой, умный, и уже посещал вечерние рисовальные классы, чтобы хорошенько научиться рисовать. Эмилия тоже преуспевала в науках: она говорила по-французски с своею бонной и брала уроки у танцмейстера.

– К Пасхе Георг наш будет конфирмован! – сказала жена привратника. Вот как успел вырасти Георг.

– Хорошо бы потом отдать его в ученье! – заметил отец. – Надо только выбрать ремесло почище. Ну, и тогда – с хлеба долой!

– Но он всё же будет, ведь, приходить домой ночевать! – возразила мать. – Нелегко-то найти мастера, который бы взял его к себе совсем. Одевать его нам, значит, тоже придётся. Так уж найдётся у нас для него и кусок хлеба: пара печёных картошек – он и доволен! Учится же он и теперь задаром. Пусть его идёт своею дорогою; увидишь, как он порадует нас! Это, ведь, и профессор говорит!

Платье для конфирмации было готово; мать сама сшила его, кроил же портной, а он хорошо кроил, даром что должен был по бедности своей пробиваться починкой старой одежды. Поставь он себя иначе, да будь в состоянии держать мастерскую и подмастерьев – говорила жена привратника – он мог бы стать придворным портным!

Итак, платье сшили, и Георг конфирмовался. В день конфирмации он получил от самого богатого из своих крёстных отцов, старого приказчика, большие томпаковые^[2] часы. Старинные они были, испытанные, и имели привычку забегать вперёд, но это лучше, чем отставать. Это был дорогой подарок! От генеральской семьи тоже явился подарок – псалтырь в сафьяновом переплёте. Прислана она была от имени барышни, которой Георг дарил картинки. На первой, чистой страничке книги было написано его имя и её имя с прибавлением «благосклонная». «Георгу на память благосклонная Эмилия». Написано это было под диктовку генеральши. Генерал прочёл и сказал: «Charmant».

– В самом деле, это большое внимание со стороны таких важных господ! – сказала жена привратника, и Георга, как он был, – в новом наряде и с псалтырью в руках – послали благодарить господ.

Генеральша сидела вся закутанная, – она страдала своею обыкновенною «ужасною мигренью», как и всегда, когда ей было скучно. Но всё-таки она взглянула на Георга очень ласково и пожелала ему всего хорошего, а также – никогда не страдать такую головную болью, как она.

Генерал расхаживал в халате, в ермолке и в русских сапогах с красными отворотами на голенищах. Он прошёлся по комнате раза три, предаваясь собственным мыслям и воспоминаниям, потом остановился и сказал:

– Итак, Георг стал теперь членом христианского общества! Будь же честен и уважай начальство! Состаришься, можешь сказать, что этому учил тебя генерал!

Длиннее этой речи генералу никогда не приходилось держать. Проговорив её, он опять углубился в себя и принял важный вид. Из всего виденного наверху, сильнее всего запечатлелась в памяти Георга барышня Эмилия. Как она была мила, нежна, воздушна, изящна! Если срисовать её, так уж разве на мыльном пузыре. От её платья, от золотистых локонов пахло духами, ни дать ни взять как от только что распустившейся розочки! И с нею-то он когда-то делился бутербродом! Она уничтожила свою порцию с жадностью, не переставая благодарно кивать ему

головкой, – говорить с набитым ртом было неудобно. Помнит ли ещё она об этом? Конечно! Красивая книжка была, ведь, подарена ему «на память». И вот, в первое же новолуние после Нового Года он вышел на двор с хлебом, медным скиллингом и псалтырью и раскрыл книгу наугад, – что-то ему выйдет? Книга раскрылась на благодарственном псалме. Он опять закрыл псалтырь, чтобы загадать на Эмилию, но постарался при этом не открыть книги в том месте, где были похоронные псалмы. И всё-таки она открылась как раз там! Конечно, верить этому было нечего, но он всё-таки струсил порядком, когда вслед затем Эмилия слегла, и к воротам стал каждый день подъезжать экипаж доктора.

– Не вылечить им её! – говорила жена привратника. – Господь Бог знает, кого Ему прибрать к себе!

Но её удалось вылечить! И вот, Георг опять принялся рисовать и отсылать ей картинки. Между прочим он нарисовал царский дворец, древний Московский Кремль с башенками и куполами, похожими на гигантские зелёные и вызолоченные огурцы, – так по крайней мере выходило по рисунку Георга. Эмилию эти картинки очень развлекали, и через неделю Георг прислал ей ещё несколько. На всех были нарисованы разные здания: глядя на них, она могла дать волю фантазии – сама рисовать себе, что происходит там за стенами и окнами.

В числе рисунков был и китайский домик в шестнадцать этажей, весь увешанный колокольчиками, и два греческих храма, окружённых стройными мраморными колоннами и террасами, и норвежская церковь, причудливой постройки, вся из брёвен; лучше же всего был «Эмилиин замок». В нём она должна была жить сама. Георг придумал для него особый стиль – смесь всего красивого из всех других стилей. От норвежской церкви он взял покрытые резьбой брёвна, от греческого храма – мраморные колонны, от китайского домика – колокольчики, а от царского Кремля – зелёные и золотые купола.

То-то был детский замок! И под каждым окошком было подписано: «тут Эмилия спит», «тут танцует», «тут играет в гости» и т. д. Вот-то весело было разглядывать всё это! И рисунок таки разглядывали.

– Charmant! – сказал генерал.

Но старик граф (был ещё старый граф, куда важнее самого генерала, владевший замком и поместьем) не сказал ничего, хотя при нём и говорили, что рисунок придуман и нарисован маленьким сынишкой привратника. Не очень-то он, впрочем, был мал, – он, ведь, уже конфирмовался. Старик граф только посмотрел на рисунки и намотал себе всё слышанное на ус.

И вот, один серенький, ненастный день оказался самым радостным, светлым днём в жизни Георга. Профессор Академии Художеств призвал его к себе.

– Послушай дружок! – сказал он. – Поговорим-ка! Господь одарил тебя способностями, он же посылает тебе и добрых покровителей. Старик граф, что живёт на углу, говорил мне сегодня о тебе. Я тоже видел твои рисунки... Ну, на них-то мы поставим крест, – в них много найдётся погрешностей! А вот теперь ты можешь два раза в неделю приходить в мою рисовальную школу и скоро выучишься рисовать получше. Я думаю, однако, что в тебе больше задатков для архитектора, чем для художника. Ну, да со временем сам увидишь! Но смотри, сегодня же сходи в угловой дом к графу поблагодарить его, да поблагодари и Бога за такого покровителя!

На углу стоял огромный дом; над окнами красовались лепные слоны и дромадеры; всё носило отпечаток старины. Но старый граф предпочитал наше время со всем, что в нём было хорошего, не разбирая, откуда оно идёт – из бельэтажа, из подвала, или с чердака.

– Право, кажется, чем кто знатнее, тем тот и проще! – сказала жена привратника. – Как просто держит себя старый граф! Говорит, ну, вот, как ты да я! Генерал с генеральшею так не могут! Георг вчера в себя прийти не мог от восторга, так мило граф с ним обошёлся! Да и я сегодня, после милостивого приёма его сиятельства, тоже сама не своя! Ну, не хорошо ли, что мы не отдали Георга в ученье! У него такие способности!

– Да, но им нужна помощь со стороны! – заметил отец.

– Помощь у него будет! – ответила мать. – Граф насчёт этого так ясно и милостиво выразился!

– А всё-таки вышло-то всё, благодаря генеральской семье! – заметил отец. – Её тоже надо поблагодарить.

– Отчего же не поблагодарить! – ответила мать. – Только моему не за что особенно! А вот Господа Бога так я поблагодарю от всего сердца! Поблагодарю Его и за то, что барышня Эмилия поправляется!

Да, генеральская дочка быстрыми шагами шла вперёд по пути выздоровления; шёл быстрыми шагами вперёд и Георг. В тот же год он удостоился малой серебряной медали, а затем попозже и большой.

– Ох, лучше бы мы отдали его в ученье! – со слезами причитала жена привратника. – Тогда бы по крайней мере он остался при нас! И что ему делать в Риме? Никогда-то нам больше не свидеться с ним, хоть бы он и вернулся!.. Да он и не вернётся, моё дитятко!

– Да, ведь, всё это для его же счастья и славы! – уговаривал её муж.

– Спасибо тебе, дружок! – отвечала жена. – Ты только говоришь так, а и сам тому не веришь! И тебе так же горько, как мне!

Так оно и было. Отцу и матери горько было расстаться с сыном, а все только и твердили: «Какое счастье выпало молодому человеку!»

И вот, Георг простился со всеми; отправился прощаться и наверх к генералу. Генеральша не показалась, – у неё опять была мигрень. Генерал же на прощанье рассказал молодому человеку единственный свой анекдот о том, что он сказал принцу и что принц ему, а затем протянул Георгу два пальца.

Эмилия тоже подала Георгу ручку и смотрела как будто печальною, но сам Георг был печальнее всех.

Время идёт и в деле, и в безделье; время проходит одинаково, только не с одинаковою пользой. Для Георга оно проходило с пользою и совсем не казалось долгим, исключая тех минут, когда он вспоминал о своих. Как-то они там поживают все – и нижние, и верхние? Положим, он получал из дома письма, а в письма можно вложить многое, из них льются в сердце солнечные лучи, от них же на сердце ложится тяжёлая мгла. Такая мгла легла на сердце молодого человека, когда он получил письмо, извещавшее о смерти его отца. Мать осталась вдовой. Эмилия была для неё ангелом утешителем, спускалась к ней в подвал – писала мать –

и сама устроила так, что должность привратницы осталась за вдовою покойного.

Генеральша вела дневник. Туда записывался каждый приём, каждый бал, на которых она была, а также все визиты знакомых к ней. Иллюстрациями к дневнику служили карточки дипломатов и других высокопоставленных особ. Генеральша гордилась своим дневником, и он всё рос да рос в объёме с течением времени – в течение многих, многих дней, мигреней и бессонных ночей, то есть придворных балов. Наконец, и Эмилию повезли на придворный бал. Мамаша была в розовом с чёрными кружевами – в испанском вкусе! Дочка – вся в белом, такая прозрачная, изящная! В золотых локонах вилась, словно водоросль, зелёная шёлковая лента, на головке красовался венок из белых кувшинок. Глазки у девушки были такие голубые, ясные, ротик нежный, пунцовый – ну, ни дать ни взять морская царевна; прелесть что такое! Три принца танцевали с нею; конечно, не все зараз, а по очереди. У генеральши целую неделю не было мигрени.

Но первый бал был не последний, а Эмилии это оказалось не по силам. Хорошо, что подоспело лето, и можно было отдохнуть на лоне природы.

Вся генеральская семья была приглашена погостить в графский замок.

Графский сад стоило посмотреть. Одна часть его была разбита в старинном вкусе: всюду шли, точно зелёные ширмы, прямые подстриженные живые изгороди, а в них были понаделаны круглые отверстия, вроде слуховых окошечек; буксбаум и тисовые деревья были подстрижены в виде звёзд и пирамид; там и сям виднелись обложенные раковинами гроты, а в глубине их били фонтаны; всюду красовались статуи из массивного гранита, – это видно было и по драпировкам, и по лицам. Каждая цветочная клумба также имела свою форму – рыбы, герба, инициала^[3]. Эта часть сада была во французском вкусе. Из неё же попадали в свежий, роскошный парк, где деревья росли, как хотели, и потому разрослись на славу, густые, огромные! Трава тут так и зеленела, и по ней можно было ходить, даром что и за нею всячески ухаживали. Это было уж в английском вкусе.

– Старина и современность! – говорил граф. – Тут они отлично гармонируют друг с другом! А вот года через два и вся усадьба примет иной вид; будет предпринято столько разных перемен и улучшений! Я покажу вам чертежи и рисунки; да и самого архитектора кстати. Они сегодня обедает у меня!

– Charmant! – сказал генерал.

– Тут просто рай земной! – сказала генеральша. – А вот и древний замок!

– Это птичник! – сказал граф. – В башне помещаются голуби, во втором этаже индейки, а в первом живёт сама повелительница этого птичьего царства, старуха Эльза. Из её помещения во все стороны идут двери в помещения её постояльцев. Наседки на яйцах помещаются особо, наседки с цыплятами особо, а для уток сделан даже особый ход к воде!

– Charmant! – сказал генерал.

И все отправились любоваться на эту прелесть.

Старуха Эльза стояла посреди горницы, а рядом с нею архитектор Георг. Вот где довелось ему встретиться с Эмилией после стольких лет разлуки – в птичнике.

Да, он стоял тут, и на него можно было залюбоваться – такой красивый! Открытое, энергичное лицо, чёрные, блестящие волосы и плутовская усмешка на губах, так и говорившая: «знаю я вас всех вдоль и поперёк!» Старуха Эльза заблаговременно сняла свои деревянные башмаки и осталась в одних чулках из почтения к знатным гостям. Куры кудахтали, петухи кричали, утки крякали: рап! рап! Изящная молодая девушка, подруга детства, генеральская дочка, стояла тут же, и на её обыкновенно бледных щёчках цвели розы, глазки так и сияли, уста говорили без слов, и она поклонилась молодому архитектору так мило, как только может этого пожелать молодой человек, если он не в родстве с молодой девушкой или не танцевал с нею очень часто на балах. А Георг, ведь, ни разу не танцевал с Эмилией.

Граф же пожал ему руку и представил гостям:

– Наш молодой друг, господин Георг, не совсем чужой вам!

Генеральша поклонилась, дочка чуть было не протянула ему руку.

– Так это наш господин Георг! – сказал генерал. – Как же, мы старые знакомые, соседями были! Charmant!

– Вы совсем превратились в итальянца! – заметила генеральша. – И верно говорите по-итальянски, как уроженец Италии?

Сама генеральша – заметил генерал – только пела по-итальянски, а не говорила.

За столом Георг сидел по правую руку Эмилии. Вёл же её к столу сам генерал, а граф вёл генеральшу.

Господин Георг вёл беседу, рассказывал, и прекрасно рассказывал. Он был душой всего общества, хотя граф тоже мог бы постоять за себя в этом отношении. Эмилия молчала, вся превратившись в слух, а глаза её так и блестели.

После обеда она и Георг очутились на террасе; высокие кусты роз скрывали их от взоров остального общества. Георг заговорил первый.

– Позвольте поблагодарить вас за ваше дружеское отношение к моей матери! – начал он. – Я знаю, что в ночь смерти моего отца вы не оставляли её, пока он не закрыл глаза. Благодарю вас!

И он взял ручку Эмилии и поцеловал. Что ж, это было вполне кстати. Девушка вся вспыхнула, но всё-таки пожала в ответ его руку и взглянула на него своими славными голубыми глазами.

– Ваша матушка была такая милая! Как она любила вас! Она давала мне читать все ваши письма, так что я, пожалуй, немножко знаю вас!.. Как вы были добры ко мне в детстве, дарили мне картинки!..

– А вы их рвали! – подхватил Георг.

– Нет, «мой замок» ещё цел! – ответила она.

– Теперь я могу построить вам настоящий! – сказал Георг с увлечением.

Генерал и генеральша разговаривали в своей комнате о сыне привратника. Как он умел держать себя, как говорил, какие приобрёл познания!

– Он мог бы быть «информатором^[4]»! – сказал генерал.

– Гений! – сказала генеральша и больше не прибавила ни слова.

Хорошее выдалось лето! Господин Георг был в графском замке частым и желанным гостем. О нём скупали, если он не являлся.

– Как щедро одарил вас Господь в сравнении с нами, бедными! –

говорила ему Эмилия. – А цените ли вы это, как следует?

Георгу очень льстил такой взгляд, и он сам считал прелестную молодую девушку необыкновенно даровитую натурю.

А генерал всё больше и больше убеждался в том, что Георг не мог быть такого низкого происхождения.

– Но, конечно, мать его была женщина вполне почтенная! – прибавлял он. – Надо отдать справедливость её могиле!

Лето прошло, наступила зима, и господин Георг опять заставил о себе говорить. Он был принят в лучших домах, у самых знатных особ. Генерал встретил его даже на придворном балу. Для Эмилии тоже предполагали сделать бал. Пригласить ли на него Георга?

– Кого приглашает король, может пригласить и генерал! – сказал генерал и выпрямился так, что вырос на целый вершок.

Георга пригласили, и он был на балу. Были там и принцы, и графы. Один танцевал лучше другого, но Эмилии удалось протанцевать только первый танец: она как-то неловко ступила на ногу и, хотя повредила её не опасно, должна была всё-таки побережиться и не танцевать больше. Пришлось сидеть да любоваться на других. Она и сидела и любовалась, а господин архитектор стоял возле.

– Вы, пожалуй, распишите ей весь собор Св. Петра! – сказал генерал, проходя мимо и благосклонно улыбаясь.

С тою же благосклонною улыбкою принял он господина Георга и несколько дней спустя. Молодой человек явился, разумеется, поблагодарить за приглашение на бал, а то зачем же? Но... о, ужас, о, безумие! Генерал не верил своим ушам. Господин Георг ударился в «высшую декламацию», просьба его была неслыханная! Он просил руки Эмилии!

– Молодой человек! – сказал генерал, покраснев, как рак. – Я вас не понимаю!.. Что вы говорите?.. Чего вы хотите?.. Я вас не знаю!.. Господин!.. Молодой человек!.. Вы врываетесь в мой дом!.. Я здесь хозяин или вы?.. Куда мне деться?..

И он, пятясь, дошёл до дверей своей спальни, переступил порог и запер за собою дверь на ключ, оставив Георга одного. Молодой человек постоял с минуту, потом повернулся и ушёл. В коридоре его встретила Эмилия.

– Что он сказал? – спросила она дрожащим голосом.

Георг пожал ей руку:

– Он убежал от меня! Но будем надеяться на лучшие времена!

У Эмилии выступили на глазах слёзы; в глазах же молодого человека светились уверенность и мужество. А солнышко озаряло обоих, словно благословляя их.

Генерал сидел в своей комнате, точно ошпаренный. В груди у него так и kloкотало ещё. «Безумие! Привратницкое сумасшествие!..»

Не прошло и часа, как генеральша узнала от супруга обо всём, позвала Эмилию и усадила её возле себя.

– Бедное дитя! Так оскорбить тебя! Оскорбить нас! Ты тоже плачешь!.. Слёзы так идут к тебе! Ты прелестна в слезах! Ты похожа на меня в день моей свадьбы! Плачь, плачь, моя дорогая!

– И буду плакать, – ответила Эмилия: – если вы с папой не дадите своего согласия!

– Дитя! – воскликнула генеральша. – Ты нездорова! Ты бредишь! Ах, у меня опять разболится голова! Этот удар!.. Не заставь свою мать умереть с горя, Эмилия! Тогда у тебя не будет матери!

И у генеральши навернулись слёзы, – она совсем не выносила мысли о своей смерти.

В газетах было опубликовано о разных назначениях, между прочим и о назначении профессором и возведении в чин пятого класса архитектора Георга.

– Жалко, что родители его уж в могиле и не могут прочесть этого! – сказали новые привратник и привратница, жившие в подвале под генералом. Они знали, что профессор увидел свет в их каморке.

– Теперь его занесут в таблицу о рангах, и ему придётся платить налог! – продолжала жена. – Да, это много значит для сына таких бедняков!

– Восемнадцать талеров в год! – сказал муж. – Конечно, деньги не малые.

– Нет, я не о том, я насчёт почёта! – возразила жена. – Что ему эти деньги! Он их заработает много раз в год! И уж, конечно, возьмёт богатую невесту. Будь у нас дети, муженёк, наш сын тоже бы мог стать архитектором и профессором!

Хорошо отзывались о Георге в подвале; хорошо отзывались о нём и в бельэтаже; там это позволил себе старый граф.

Поводом послужили детские рисунки архитектора. Почему же о них зашёл разговор? Да вот, заговорили о России, о Москве, ну, дошли и до Кремля, который когда-то нарисовал и подарил Эмилии Георг. Он дарил ей много картинок, но из них особенно запечатлелась в памяти у графа одна: «Эмилиин замок», с комнатами, где «она спала», «танцевала» и «играла в гости». И вот, граф высказал, что профессор одарён большим талантом и наверно умрёт в высоком чине. В этом нет ничего невозможного! Так почему ж бы ему и в самом деле не построить замка для молодой девицы?

– Граф был сегодня необыкновенно шутливо настроен! – заметила генеральша по уходе графа. Генерал покачал головой, выехал на прогулку верхом в сопровождении лакея – на почтительном расстоянии – и посадка его была ещё величественнее обыкновенного.

Настал день рождения Эмилии; посыпались цветы, книги, письма, визитные карточки. Генеральша поцеловала дочь в губки, генерал в лоб; они были нежные родители. Семью осчастливили в этот день посещением высокие гости – двое из принцев. Говорили о балах, о театре, о дипломатических назначениях, о политике. Говорили и о выдающихся деятелях – и чужих, и своих; тут уж и молодой профессор сам собой подвернулся под язык. «Он вступит в храм бессмертия! Вступит, вероятно, и в одну из лучших наших фамилий!» Вот что было между прочим сказано о нём.

– В одну из лучших фамилий! – повторил генерал, когда остался один с генеральшею. – В какую же бы это?

– Я знаю, на какую намекали! – ответила генеральша. – Но не скажу! И думать не хочу! Конечно, один Бог знает... Но я буду очень удивлена!

– И я тоже! Я даже и представить себе ничего не могу!.. – сказал генерал и стал выжидать минуту просветления.

А, ведь, в самом деле, невыразимая сила кроется в милости свыше, в благоволении двора, знаменующем и Божье благоволение! И благоволение это выпало на долю Георга в самых широких размерах. Но мы забыли день рождения!..

Комната Эмилии утопала в цветах, присланных от друзей и подруг; на столе лежали прекрасные подарки, свидетельствовавшие о памяти и дружбе. Но от Георга не было и не могло быть ничего; да и зачем? Дом и без того был полон воспоминаниями о нём. Цветок воспоминания выглядывал даже из чуланчика под лестницей, где плакала Эмилия, когда в детской загорелись занавески, а Георг явился первым пожарным. Из окна была видна акация, тоже воскрешавшая воспоминания детства. На ней не было теперь ни цветов, ни листьев, только бахрома из инея, так что дерево напоминало гигантскую коралловую ветвь. Месяц просвечивал между ветвями, всё такой же большой, яркий! Он, несмотря на всю свою изменчивость, ничуть не изменился с того времени, когда Георг делился с Эмилией бутербродом.

Молодая девушка вынула из ящика рисунки «Кремль» и «Эмилиин замок». Они тоже говорили о Георге, и она загляделась на них. Много дум пробудили в ней они! Ей припомнилось, как она тайком от родителей спустилась вниз к жене привратника, лежавшей на смертном одре, как села возле неё, взяла её за руку и приняла её последний вздох, её последнюю молитву: «Георг... благословляю!»... Мать думала только о сыне, но Эмилия вложила в её слова особенный смысл. Да, Георг провёл таки с Эмилией день её рождения!

На другой день тоже случилось рождение – рождение самого генерала. Он родился днём позже своей дочери – конечно, многими годами раньше. Опять посыпались подарки. В числе их было превосходное, необыкновенно удобное и дорогое седло; такое имелось пока только у одного из принцев. Кто бы это мог прислать его? Генерал был от него в полном восхищении. К седлу была приложена записка. Гласи она: «Mégçì за вчерашнее!» все догадались бы от кого оно было, но она гласила: «От лица, которого господин генерал не знает!»

– Кого же я не знаю в свете? – сказал генерал. – Всех знаю! – И мысли его отправились гулять по большому свету. Нет, там он знал всех. – Это от жены! – решил он, наконец. – Она вздумала интриговать меня! Charmant!

Но она и не думала интриговать его, – миновала эта пора.

Опять готовилось празднество, но уж не у генерала, а у одного

из принцев. Назначен был костюмированный бал; разрешалось быть и в масках.

Генерал явился Рубенсом, в испанском костюме, с небольшим стоячим воротником, при шпаге, щеголяя своею осанкой. Генеральша изображала супругу Рубенса и задыхалась от жары в закрытом чёрном бархатном платье, с жерновом на шее – т. е., с большим плоеным воротником. Костюм был скопирован с картины фламандского художника, принадлежавшей генералу; на картине особенно хороши были руки, а руки генеральши были точь-в-точь такие же.

Эмилия, вся в тюле и кружевах, изображала Психею. Она напоминала порхающую лебязью пушинку и совсем не нуждалась в крылышках, составлявших принадлежность костюма Психеи.

Что это был за бал! Что за блеск, что за великолепие! Какие цветы, сколько вкуса! Глаза разбегались, – где уж тут было смотреть на руки прекрасной супруги Рубенса!

Чёрное домино^[5], с веткой акации на капюшоне, танцевало с Психеей.

– Кто это? – спросила генеральша.

– Его королевское высочество! – ответил генерал. – Я уверен в этом; я сразу узнал его по рукопожатию!

Генеральша сомневалась. Генерал Рубенс ничуть, подошёл к чёрному домино и начертил на его ладони инициалы принца. Тот отрицательно покачал головой, но дал намёк:

– Записка при седле! Лицо, которого генерал не знает!

– Но тогда я вас знаю! – сказал генерал. – Это вы прислали мне седло!

Домино подняло правую руку и исчезло в толпе.

– Кто это чёрное домино, Эмилия? – спросила генеральша. – Ты сейчас с ним танцевала!

– А я не спросила его имени! – ответила дочь.

– Потому что знала его! Это профессор!.. Ваше протеже, граф, здесь! – продолжала генеральша, обращаясь к графу, стоявшему возле. – Чёрное домино с веткой акации!

– Очень возможно! – ответил он. – Впрочем, один из принцев одет точно так же!

– Я узнал его по рукопожатию! – настаивал генерал. – От принца же я получил и седло. Я так уверен в этом, что приглашу его к нам обедать!

– Что ж, сделайте так! Если это принц – он придёт! – ответил граф.

– А если, это тот... другой, он не придёт! – сказал генерал и приблизился в чёрному домино, которое только что кончило беседовать с королём. Генерал обратился к домино с почтительным приглашением, выражая желание познакомиться с ним поближе. Генерал говорил так громко, отчётливо, так самоуверенно улыбался при этом, – он знал, ведь, кого приглашал!

Домино сняло маску; это был Георг.

– Повторит ли генерал своё приглашение? – спросил он.

Генерал словно вырос на целый вершок, осанка его стала ещё величественнее; он отступил на два шага назад, потом сделал шаг вперёд, точно в менуэте, и на лице его появилось самое знаменательное выражение, какое только он вообще мог придать своим благородным генеральским чертам.

– Я никогда не беру своих слов назад! Профессор приглашён!

И он удалился, косясь на короля, который наверное слышал весь разговор.

Обед у генерала состоялся; приглашены были только старик граф, да его протеже.

«Теперь лёд проломан!» думал Георг. И лёд действительно был проломан при самой торжественной обстановке.

Да, молодой человек снова появился в доме генерала и говорил и держал себя, совсем как человек из лучшего общества, – генерал не мог этого не видеть. Кроме того, он оказался в высшей степени интересным собеседником, так что генералу несколько раз пришлось прибегнуть к своему восклицанию: «charmant!» Генеральша не преминула рассказать об этом обеде в обществе, и одна из самых умных и уважаемых придворных дам выразила генеральше желание обедать у неё в следующий же раз, как будет приглашён молодой профессор. Пришлось снова пригласить его. Он принял приглашение и был опять в высшей степени мил; оказалось даже, что он играет в шахматы!

– Положительно он не подвального происхождения! – сказал генерал. – Наверное он сын знатной особы! Таких сыновей много, и молодой человек тут не при чём.

Профессор, бывавший при дворе у короля, мог, конечно, бывать и у генерала; но предполагать, что он пустит в семье корни?!. Об этом не могло быть и речи – в доме, в городе же только о том и говорили.

Он и пустил таки корни!

Милость свыше пролилась на него, и когда он сделался статским советником, Эмилия сделалась статскою советницею, что никого не удивило.

– Жизнь либо трагедия, либо комедия! – сказал генерал. – В трагедии влюблённые умирают, в комедии сочетаются браком.

Георг с Эмилией сочетались, и у них родилось трое славных мальчуганов – не зараз, конечно.

Милые детки, бывая в гостях у дедушки и бабушки, ездили по всем комнатам и залам верхом на палочках, а за ними гарцевал на палочке и сам генерал – «в качестве жокея маленьких статских советников!»

Генеральша же сидела на диване и улыбалась, глядя на внуков, даже в те дни, когда страдала своею «ужасною мигренью».

Так вот как далеко пошёл Георг. Да он пошёл и ещё дальше, иначе не стоило бы и разговор заводить о сыне привратника!

^[1] Бельэтаж – в архитектуре – второй снизу, после цокольного, этаж здания.

^[2] Томпак – разновидность латуни с содержанием меди и цинка.

^[3] Инициал – начальная буква имени, отчества, фамилии.

^[4] Информатор – устар. домашний учитель.

^[5] Домино – здесь, маскарадный костюм в виде длинного плаща с рукавами и капюшоном, а также человек, одетый в такой костюм.



 Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Сокрыто – не забыто



Стоял старый замок, окружённый тинистыми рвами; вёл к нему подъёмный мост, который чаще бывал поднят, чем опущен, – не всякий гость приятен! В стенах под крышей были бойницы; из них стреляли, лили кипяток и даже растопленный свинец на головы врагов, если те подступали чересчур близко. Потолки в замковых покоях были высокие, и хорошо, что так, – по крайней мере было куда деваться дыму, выходящему из камина, где шипели огромные сырые коряги. По стенам висели портреты закованных в латы мужчин и гордых дам в платьях из тяжёлой материи. Самою же стройною, величественною из них была сама нынешняя владетельница замка, Метта Могенс.

Раз вечером на замок напали разбойники, убили трёх слуг и цепную собаку, а вместо неё посадили на цепь госпожу. Сами же расселись в зале и начали бражничать, попивая доброе вино и пиво из погребов замка.

И вот, госпожа Метта сидела на цепи и даже лаять не могла. Вдруг явился слуга разбойников; он подкрался к ней потихоньку, чтобы не заметили разбойники, – они бы убили его.

– Госпожа Метта Могенс! – сказал он. – Помнишь ли ты, как твой муж посадил на кобылку моего отца? Ты просила за него, но просьбы не помогли, он должен был сидеть, пока не искалечится; тогда ты подкралась к нему, как я теперь к тебе, и сама подложила ему камешек, сперва под одну, потом под другую ногу, чтобы дать ему отдохнуть. Никто не заметил этого, или все сделали вид, что не заметили, – ты была, ведь, молодой доброю госпожой их! Вот что рассказывал мне мой отец, и я скрыл это в моём сердце, скрыл, но не забыл! Теперь я освобожу тебя, госпожа Метта Могенс.

Они вывели из конюшни лошадей и помчались в дождь и ветер прочь от замка, за помощью.

– Ты щедро платишь за мою маленькую услугу старику! – сказала Метта Могенс.

– Скрыто – не забыто! – повторил слуга.

Разбойников повесили.

Стоял старый замок; стоит он и посейчас; но владеет им не Метта Могенс, а другой дворянский род.

Было это уже в наше время. Золочёные шпицы башен сияли на солнце, маленькие лесные островки выглядывали из воды словно букеты, а вокруг них плавали белые лебеди. В саду цвели розы, но сама владетельница замка была свежее, прекраснее лепестка розы. Она вся сияла от радости, от сознания сделанного ею доброго дела. Добрые дела её не кричат о себе по свету, но находят себе приют в сердцах людей; там они скрыты, но не забыты.

Вот она идёт из замка к одинокой лачужке в поле. В ней живёт бедная параличная девушка. Единственное окошечко её коморки было обращено на север, и солнце не заглядывало к ней никогда. Она видела в окно только краешек поля, ограниченного высокою насыпью. Но сегодня в комнатке сияет солнышко, тёплое Господне солнышко! Оно светит с юга в новое окошко, прорубленное в прежде глухой стене.

Параличная сидит и греется на солнышке, любит лесом и

берегом морским; свет вдруг так расширился для неё, приобрёл новую красоту, и всё это – по одному слову ласковой владельницы замка.

– Мне ничего не стоило сказать его и сделать это маленькое доброе дело! – говорит она. – А оно доставило мне такую огромную, бесконечную радость!

Вот почему она и продолжает творить добро, думать обо всех нуждающихся в утешении и в бедных хижинах, и в богатых домах – и там находятся такие. Добрые дела её остаются скрытыми, но не забытыми Господом Богом.

В большом, шумном городе стоял старый дом. В нём было много комнат и зал, но мы туда не пойдём, а останемся в кухне. Тут тоже светло, уютно, чисто и мило. Медная посуда так и блестит, стол чисто выскоблен, лоханка тоже. Всё это дело рук служанки; она одна служанка в доме и всё-таки находит ещё время, убравшись по дому, приодеться, словно собирается в церковь. На голове у неё чепчик с чёрным бантиком; это означает траур, скорбь. Но у неё нет никого, о ком бы ей печалиться – ни отца, ни матери, ни родственников, ни милого; она бедная, одинокая девушка. Когда-то, впрочем, у неё был жених, такой же бедняк, как и она сама; они горячо любили друг друга, но вот однажды он сказал ей:

– У нас с тобой нет ничего! А богатая вдова-погребщица давно нашёптывает мне ласковые слова. Она хочет мне добра! Но моё сердце полно тобою! Что ты присоветуешь мне!

– Делай так, как по-твоему будет для тебя лучше! – сказала она. – Будь добр и ласков с нею, но помни, что раз мы расстанемся – больше уж не увидимся!

Прошло несколько лет; и вот она встретила на улице своего прежнего жениха. Он смотрел так плохо, что она не могла пройти мимо него, не спросив:

– Что с тобою? Как тебе живётся?

– Хорошо и богато! ответил он. – Жена моя добрая, славная женщина, но в моём сердце одна ты. Я отстрадал своё, скоро конец! Мы свидимся теперь только на том свете!

Прошла неделя, и сегодня утром в газете появилось извещение о его смерти; вот почему у девушки чёрный бантик на чепчике.

Жених её умер, «потерян для жены и трёх пасынков», – как сказано в извещении. Звучит-то оно как-то фальшиво, но самый колокол из чистого металла.

Чёрный бантик говорит о горе; лицо девушки говорит о нём ещё сильнее. В сердце её он скрыт и никогда не будет забыт!

Вот и все три истории, три листка, выросшие на одном стебельке. Хочешь ещё таких трилистников? Их много хранится в памятной книжке сердца.

Многое там скрыто, но не забыто!

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Буря перемещает вывески (Как буря перевесила вывески)

В старину, когда дедушка, отец моей матери, был ещё совсем маленьким мальчуганом, щеголял в красных штанишках, в красной курточке с кушачком, и в шапочке с пёрышком, – вот как тогда наряжали маленьких мальчиков – так в то время и всё было иначе, чем теперь. Тогда часто устраивались такие уличные торжества, каких нам уж не видать: мода на них прошла, устарели они. Но куда как занятно послушать о них!

Что было за торжество, когда сапожники меняли своё главное цеховое помещение и переносили цеховую вывеску на новое место! Они шли целую процессией; впереди несли шёлковое цеховое знамя, на котором красовался большой сапог и двуглавый орёл; затем, шли младшие подмастерья с «здравным кубком» и

«цеховым ларцом»; на рукавах у них развевались красные и белые ленты; старшие же несли шпаги с воткнутыми на острие лимонами. Музыка гремела вовсю, и лучшим из инструментов была «птица», как называл дедушка большой шест с полумесяцем на верхушке; на шесте были навешаны всевозможные бубенчики и позвонки, – настоящая турецкая музыка! Шест подымали кверху и потряхивали им: динг-данг! В глазах рябило от сияющих на солнце золотых, серебряных и медных погремушек и украшений!

Перед шествием бежал арлекин в платье, сшитом из разноцветных лоскутков; лицо его было вымазано сажей, на голове колпак с бубенчиками – ну, словно лошадь во время карнавала! Он раздавал своею складною палкой удары направо и налево; треску было много, а совсем не больно. В толпе же просто давили друг друга! Мальчишки и девчонки шныряли повсюду и шлепались прямо в канавы; пожилые кумушки проталкивали себе дорогу локтями, хмурились и бранились. Повсюду говор и смех; на всех лестницах, во всех окнах, даже на крышах виднелись люди. Солнышко так и сияло; случалось, что процессию вспрыскивал и дождичек, но дождик – благодать для земледельца, так не беда, если даже горожане промокнут насквозь!

Ах, как дедушка рассказывал! Он, ведь, сам видел все эти торжества, во всём их блеске. Цеховой старшина взбирался на помост под повешенною на новое место вывеской и держал речь в стихах, будто сам был стихотворцем. Да оно так и было: он сочинял эти стихи вместе с двумя другими товарищами, а чтобы дело шло на лад, они предварительно осушали целую миску пунша. Народ кричал ему в ответ «ура», но ещё громче раздавалось ура в честь арлекина, когда тот выходил и передразнивал оратора. Шут презабавно острил, попивая мёд из водочных рюмок, которые потом бросал в толпу, а люди ловили их; у дедушки даже хранилась такая рюмочка; её поймал один каменщик и подарил ему. То-то было веселье! И вот вывеска висела на новом доме вся в зелени и цветах.

«Такого торжества не забудешь никогда, до какой бы глубокой старости не дожил!» – говаривал дедушка; и он таки не забыл, хотя и много хорошего видел на своём веку. Много о чём мог он порассказать, но забавнее всего рассказывал о том, как

распорядилась вывесками в большом городе буря.

Дедушке ещё мальчиком довелось побывать в этом городе вместе со своими родителями, и это было в первый раз в его жизни. Увидя на улице толпы народа, он вообразил, что здесь тоже готовится торжество перемещения вывесок, а сколько их тут было! Если бы собрать да развесить их по стенам, понадобилась бы сотня комнат! На вывеске портного были нарисованы всевозможные костюмы; он мог перекроить любого человека из грубого в изящного. На вывеске табачного торговца красовались прелестные мальчуганы с сигарами во рту, – ну, совсем, как живые! На некоторых вывесках было намалёвано масло, на других – селёдки, на третьих пасторские воротнички, гробы и всевозможные надписи. Можно было с утра до вечера ходить взад и вперёд по улицам и досыта налюбоваться этими картинками да кстати и разузнать, где какие живут люди, – они, ведь, сами вывешивали свои вывески. А это очень хорошо в таком большом городе – говорил дедушка: очень полезно знать, что делается за стенами домов!

И надо же было случиться с вывесками такой оказии, какая случилась с ними как раз к прибытию в город дедушки. Он сам рассказывал об этом, и без всяких плутовских ужимок, означавших, – как уверяла мама – что он собирался подурочить меня. Нет, тут он смотрел совсем серьёзно.

В первую же ночь по прибытии его в город, разыгралась такая буря, о какой и в газетах никогда не читали, какой не запомнили и старожилы. Кровельные черепицы летали в воздухе, старые заборы ложились плашмя, а одна тачка так прямо покатила по улице, чтобы спастись от бури. В воздухе шумело, гудело, выло, буря свирепствовала. Вода выступала из каналов, – она просто не знала, куда ей деваться в такой ветер. Буря проносилась над городом и срывала с крыш дымовые трубы. Сколько покривилось в ту ночь церковных шпицев! И они не выпрямились уже никогда!

Против дома старого, почтенного и вечно опаздывавшего брандмайора стояла караульная будка; буря не захотела оставить ему этот знак почёта, сорвала будку со шкворня, покатила по улице и – что всего удивительнее – оставила её перед домом,

где жил бедняк-плотник, спасший на последнем пожаре из огня трёх человек. Конечно, сама-то будка не имела при этом никакого злого умысла!

Вывеску цирюльника, большой медный таз, сорвало и занесло в оконное углубление дома советника. Это уж смахивало на злой умысел, – говорили соседи – все, ведь, даже ближайšie приятельницы, называли госпожу советницу «бритвою». Она была так умна и знала о людях куда больше, чем они сами о себе!

Вывеска с нарисованною на ней сушёною треской перелетела на дверь сотрудника одной из газет. Со стороны бури это было плоской шуткой; буря, видно, забыла, что с сотрудником газет шутки плохие, – он царь в своей газете и в собственных глазах. Флюгерный же петух перелетел на крышу соседнего дома, да там и остался – в виде злейшей насмешки, – говорили соседи.

Бочка бочара перенеслась к мастерской дамских нарядов.

Меню кухмистра^[1], висевшее в тяжёлой рамке над его дверью, буря поместила над входом в театр, мало посещаемый публикою. Забавная вышла афиша: «Суп из хрена и фаршированная капуста». Но тут-то публика и повалила в театр.

Лисья шкурка, вывеска честного скорняка, повисла на ручке колокольчика у дверей одного молодого человека, который не пропускал ни одной церковной службы, смотрел «сложенным дождевым зонтиком», стремился к истине и был «примерным молодым человеком», по отзыву своей тётки.

Вывеска с надписью «Высшее учебное заведение» перенеслась на бильярдный клуб, а самое учебное заведение получило вывеску с надписью: «Здесь вскармливают детей на рожке^[2]». И остроумного в том ничего не было, – одна неучтивость, но с бурей, ведь, ничего не поделаешь – вздумала и сделала!

Ужасная выдалась ночка! К утру – подумайте только! – все вывески в городе были перемещены, причём в иных местах вышла такая злая насмешка, что дедушка даже и говорить о том не хотел, а только посмеивался про себя, – я это отлично заметил – значит, у него было что-то на уме!

Бедные городские жители, особенно же приезжие, совсем сбились с толку, попадали совсем не туда, куда хотели, и что

мудрёного, если они руководились только вывесками! Иным хотелось, например, попасть в серьёзное собрание пожилых людей, занимающихся обсуждением дельных вопросов, и вдруг они попадали в школу к мальчишкам-крикунам, готовым прыгать по столам!

Многие ошибались церковью и театром, а это, ведь, ужасно!

Подобной бури в наши дни уж не было; это только дедушке довелось пережить такую, да и то мальчуганом. Подобной бури, может быть, и вовсе не случится в наше время, а разве при наших внуках. Но уж надеемся и пожелаем, чтобы они благоразумно оставались по домам, пока буря будет перемещать вывески!

^[1]Кухмистер – устар. содержатель кухмистерской, небольшого ресторана, столовой.

^[2]Рожок – бутылочка для кормления детей.

    

 Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Золотой мальчик

Жена барабанщика была в церкви и смотрела на новый алтарь, уставленный образами и украшенный резными херувимчиками. Какие они были хорошенькие! И те, с золотым сиянием вокруг головок, что были нарисованы на холсте, и те, что были вырезаны из дерева, а потом раскрашены и вызолочены. Волоски у них отливали золотом; чудо, как было красиво! Но солнечные лучи были ещё красивее! Как они сияли между тёмными деревьями,

когда солнышко садилось! Какое блаженство было глядеть в этот лик Божий! И жена барабанщика загляделась на красное солнышко, думая при этом о малютке, которого скоро принесёт ей аист. Она ждала его с радостью и, глядя на красное солнышко, желала одного: чтобы блеск его отразился на её малютке; по крайней мере, чтобы ребёнок походил на одного из сияющих херувимов алтаря!

И вот, когда она, наконец, действительно держала в объятиях новорожденного малютку и подняла его показать отцу, оказалось, что ребёнок в самом деле был похож на херувима: волосы у него отливали золотом; на них как будто легло сияние закатившегося солнышка.

– Золотой мой мальчик, сокровище, солнышко моё! – воскликнула мать и поцеловала сияющие кудри. В комнатке барабанщика словно гремела музыка, раздавалось пение, воцарились радость, веселье, жизнь, шум! Барабанщик принялся выбивать на своём барабане такую дробь, что держись! Барабан – большой пожарный барабан – так и гремел: «Рыжий! У мальчишки рыжие волосы! Слушай, что говорит барабанная кожа, а не мать! Трам-там-там!» И весь город говорил то же, что барабан.

Мальчика снесли в церковь и окрестили. Ну, против имени сказать было нечего: ребёнка называли Петром. Весь город и барабан звали его «рыжий барабанщиков Пётр», но мать целовала золотистые волосы сына и звала его «золотым мальчиком».

На глинистом откосе у дороги было выцарапано много имён.

– Слава! Она что-нибудь да значит! – указал барабанщик и выцарапал там своё имя и имя сына.

Прилетели ласточки; они видели в своих странствиях надписи попрочнее, вырезанные на скалах и на стенах храмов в Индостане, надписи, вещавшие о могучих, славных владыках; но они были такие древние, что никто уже не мог прочесть их, никто не мог выговорить этих бессмертных имён.

Слава! Знаменитое имя!

Ласточки устраивали себе на откосе гнёзда, выкапывая в мягкой глине ямки; дождь и непогода тоже помогали стирать выцарапанные там имена. Скоро исчезли и имена барабанщика и Петра.

– Петрово имя всё-таки продержалось полтора года! – сказал отец.

«Дурак!» подумал пожарный барабан, но сказал только: «Дур-дур-дур-дум-дум-дом!»

Рыжий барабанщик Пётр был мальчик живой, весёлый. Голос у него был чудесный; он мог петь и пел, как птица в лесу, не зная никаких мелодий, и всё-таки выходила мелодия.

– Он будет певчим! – говорила мать. – Будет петь в церкви, стоять под теми прелестными вызолоченными херувимчиками, на которых так похож!

«Рыжий кот!» говорили городские остряки. Барабан часто слышал это от соседок.

– Не ходи домой, Пётр! – кричали уличные мальчишки. – А то ляжешь спать на чердаке, а в верхнем этаже загорится! Вашему пожарному барабану будет дело!

– Берегитесь-ка вы барабанных палок! – сказал Пётр и, как ни был мал, храбро пошёл прямо на мальчишек и ткнул кулаком в брюхо ближайшего. Тот полетел кверху ногами; остальные – давай Бог ноги!

Городской музыкант, такой важный, знатный, – он был сыном придворного буфетчика – очень любил Петра, часто призывал его к себе, давал в руки скрипку и учил его играть. У мальчика оказался талант; из него должно было выйти кое-что получше простого барабанщика – городской музыкант!

– Солдатом я буду! – говорил сам Пётр. Он был ещё маленьким мальчуганом, и ему казалось, что лучше всего на свете, это – носить мундир и саблю, да маршировать под команду: раз-два, раз-два!

– Выучишься ходить под барабан! Трам-там-там! – сказал барабан.

– Хорошо, кабы он дошёл до генерала! – сказал отец. – Но тогда надо войну!

– Боже упаси! – сказала мать.

– Нам-то нечего терять! – заметил отец.

– А мальчугана нашего? – возразила мать.

– Ну, а подумай, если он вернётся с войны генералом!

– Без руки или ноги! Нет, пусть лучше мой золотой мальчик

останется целым!

«Трам-там-там!» загремел пожарный барабан, загремели и все барабаны. Началась война. Солдаты выступили в поход, с ними ушёл и барабанщик Пётр, «рыжая макушка», «золотой мальчик»! Мать плакала, а отец уже видел сына знаменитым; городской же музыкант находил, что Петру не следовало ходить на войну, а служить искусству дома.

«Рыжая макушка!» говорили солдаты, и Пётр смеялся, но если кто-нибудь говорил: «Лисья шкура!», он закусывал губы и смотрел в сторону, пропуская эти слова мимо ушей.

Мальчик был шустрый, прямой и весёлый, а «весёлый нрав – лучшая походная фляжка», – говорили его старые товарищи.

Часто приходилось ему проводить ночи под открытым небом, мокнуть в дождь и непогоду до костей, но весёлость не покидала его, барабанные палки весело выбивали: «Трам-там-там! В поход!» Да, он прямо рождён был барабанщиком!

Настал день битвы; солнце ещё не вставало, но заря уже занялась; в воздухе было холодно, а бой шёл жаркий. Стоял густой туман, но пороховой дым был ещё гуще. Пули и гранаты летали над головами и в головы, в тела, в руки и ноги, но солдаты всё шли вперёд. То тот, то другой из них падал, поражённый в висок, побелев, как мел. Но маленький барабанщик не бледнел; ему ещё не пришлось потерпеть вреда, и он весело посматривал на полковую собаку, прыгавшую впереди так беззаботно, как будто кругом шла игра, как будто ядра были только мячиками!

«Марш! Вперёд!» Эта команда была переложена на барабан, и такой команды не берут назад, но тут её пришлось взять назад, – разум приказывал! Вот и велено было бить отбой, но маленький барабанщик не понял и продолжал выбивать: «марш! вперёд!» И солдаты повиновались барабанной коже. Славная-то была барабанная дробь! Она выиграла сражение готовым отступить.

Битва многим стоила жизни; гранаты рвали мясо в клочья, поджигали вороха соломы, в которые заползали раненые, чтобы лежать там брошенными много часов, может быть – всю жизнь! Но что пользы думать о таких ужасах! И всё же о них думается – даже далеко от поля битвы, в мирном городке. Барабанщик с

женою тоже не переставали о них думать: Пётр был, ведь, на войне!

– И надоело же мне это хныкание! – сказал пожарный барабан. Дело было в самый день битвы; солнце ещё не вставало, но было уже светло; барабанщик с женою спали, – они долго не засыпали накануне, разговаривая о сыне: он был, ведь, там, «в руках Божиих». И вот, отец увидал во сне, что война кончена, солдаты вернулись, и у Петра на груди серебряный крест. Матери же приснилось, будто она стоит в церкви, смотрит на резных и нарисованных на образах херувимов с золотыми кудрями и видит среди них своего милого «золотого мальчика». Он стоит в белой одежде и поёт так чудесно, как поют разве только ангелы! Потом он стал возноситься вместе с ними на небо, ласково кивая матери головою...

– Золотой мой мальчик! – вскрикнула она и проснулась. – Ну, значит, Господь отозвал его к Себе! – И она прислонилась головой к пологу, сложила руки и заплакала. – Где-то он покоится теперь? В огромной общей могиле? Может быть, в глубоком болоте? Никто не знает его могилы! Никто не прочтёт над нею молитвы! – И из уст её вырвалось беззвучное «Отче Наш»... Потом голова её склонилась на подушку, и усталая мать задремала.

Дни проходили; жизнь текла, думы росли!

День клонился к вечеру; над полем сражения перекинулась радуга, упираясь одним концом в лес, другим в глубокое болото. Народ верит, что там, куда упирается конец радуги, зарыт клад, золото. Тут и действительно лежало золото, «золотой мальчик». Никто не думал о маленьком барабанщике, кроме его матери, вот почему ей и приснилось это.

Дни проходили; жизнь текла, думы росли!

Но с его головы не упало ни единого волоска, ни единого золотого волоска!

«Трам-там-там, и он к вам!» мог бы сказать барабан, могла бы пропеть мать, если бы она ожидала сына, или увидала во сне, что он возвращается.

С песнями, с криками «ура», увенчанные свежую зеленью возвращались солдаты домой. Война кончилась, мир был заключён.

Полковая собака бежала впереди, описывая большие круги, словно ей хотелось удлинить себе дорогу втрое.

Дни и недели проходили, и вот, Пётр вступил в комнатку родителей. Он загорел, как дикарь, но глаза и лицо его так и сияли. Мать обнимала, целовала его в губы, в глаза, в рыжие волосы. Мальчик её опять был с нею! Он, правда, вернулся без серебряного креста на груди, как снилось отцу, но зато целым и невредимым, чего и не снилось матери. То-то было радости! И смеялись и плакали вместе. Пётр даже обнял старый барабан.

– Ты всё ещё тут, старина! – сказал он, а отец выбил на барабане громкую, весёлую дробь.

– Подумаешь, право, в доме пожар! – сказал пожарный барабан. – Макушка вся в огне, сердце в огне, «золотой мальчик» вернулся! Трам-там-там!

А потом? Потом что? Спроси-ка городского музыканта!

– Пётр перерос барабан! Пётр перерастёт и меня! – говорил он, даром что был сыном придворного буфетчика! Но всё, чему он выучился за целую жизнь, Пётр прошёл в полгода.

В сыне барабанщика было что-то такое открытое, сердечное. А глаза и волосы у него так и сияли, – этого уж никто не мог отрицать.

– Ему бы следовало красить свои волосы! – говорила соседка. – Вот дочери полицмейстера это отлично удалось, и она сделалась невестою!

– Да, но, ведь, волосы у неё сразу позеленели, как тина, и ей вечно придётся краситься!

– Так что ж! Средств у неё на это хватит! – отвечала соседка.

– И у Петра они есть! Он вхож в самые знатные семейства, даже к самому бургомистру, обучает игре на фортепьяно барышню Лотту!

Да, играть-то он умел! Он вкладывал в игру всю свою душу, и из-под его пальцев выливались чудные мелодии, которых не было ни на одной нотной бумаге. Он играл напролёт все ночи – и светлые и тёмные. Это было просто невыносимо, по словам соседей и барабана.

Он играл, а мысли уносили его высоко-высоко, чудные планы роились в голове... Слава!..

Дочка бургомистра Лотта сидела за фортепьяно; изящные пальчики бегали по клавишам и ударяли прямо по струнам Петрова сердца. Оно как будто расширялось в груди, становилось таким большим-большим! И это было не раз, не два, а много раз, и вот, однажды, Пётр схватил эти тонкие пальчики, эту прекрасную руку, поцеловал её и заглянул в большие чёрные глаза девушки. Бог знает, что он сказал ей при этом! Мы можем только догадываться. Лотта покраснела до ушей, но не ответила ни слова: как раз в эту минуту в комнату вошёл посторонний, сын статского советника; у него был большой, гладкий лоб, доходивший до самого затылка. Пётр долго сидел с ними, и Лотта так умильно улыбалась ему.

Вечером, придя домой, он заговорил о чужих краях и о том кладе, который лежал для него в скрипке.

Слава!

– Трам-там-там! – сказал барабан. – Он совсем спятил! Право, в доме как будто пожар!

На другой день мать отправилась на рынок.

– Знаешь новость, Пётр? – спросила она, вернувшись оттуда. – Славная новость! Дочка бургомистра Лотта помолвлена вчера вечером с сыном статского советника!

– Не может быть! – воскликнул Пётр, вскакивая со стула. Но мать сказала «да», – она узнала эту новость от жены цирюльника, а муж той слышал о помолвке от самого бургомистра. Пётр побледнел, как мертвец, и упал на стул.

– Господи Боже! Что с тобой? – воскликнула мать.

– Ничего, ничего! Только оставь меня! – ответил он, а слёзы так и побежали у него по щекам ручьём.

– Дитяtko моё милое! Золотой мой! – сказала мать и тоже заплакала. А барабан напевал – конечно, про себя: «Lotte ist todt! Lotte ist todt!»^[1] Вот и песенке конец!»

Но песне ещё не был конец; в ней оказалось ещё много строф, чудных, золотых строф!

– Ишь, ломается, из себя выходит! – оговаривала соседка мать Петра. – Весь свет должен читать письма её «золотого мальчика» и газеты, где говорится о нём и о его скрипке. Он и денег ей

высылает немало, а это ей кстати теперь – овдовела!

– Он играет перед королями и государями! – говорил городской музыкант. – Мне этого не выпало на долю, но он – мой ученик и не забывает своего старого учителя.

– Отцу снилось, что Пётр вернулся с войны с серебряным крестом на груди, но там трудно заслужить его! Зато теперь у него командорский крест! Вот бы отец дожил! – рассказывала мать.

– Он – знаменитость! – гремел пожарный барабан, и весь родной город повторял: сын барабанщика, рыжий Пётр, бегавший мальчиком в деревянных башмаках, бывший барабанщик, музыкант, игравший на вечеринках танцы – знаменитость.

– Он играл у нас раньше, чем в королевских дворцах! – говорила жена бургомистра. – В те времена он без ума был от нашей Лотты. Он всегда метил высоко! Но тогда это было с его стороны просто дерзостью! Муж мой так смеялся, узнав об этой глупости. Теперь наша Лотта – статская советница!

Золотые были сердце и душа у бедного мальчугана, бывшего барабанщика, который заставил идти вперёд и победить готовых отступить.

В груди у него был золотой клад, неисчерпаемый источник звуков. Они лились со скрипки, словно она была целым органом, словно по струнам её танцевали эльфы летней ночи. В этих звуках отдавались и пение дрозда, и полнозвучный человеческий голос. Вот почему были так очарованы его слушатели, вот почему слава его прогремела далеко за пределами его родины. Он зажигал в сердцах святой огонь, пламя, целый пожар восторга.

– И как он хорош собою! – восторгались и молодые и старые дамы и девицы. Самая пожилая из них даже завела себе альбом для локонов знаменитостей ради того только, чтобы иметь предлог выпросить прядь роскошных волос молодого скрипача.

И вот, он вернулся в бедную комнатку барабанщика разодетый, изящный, как принц, счастливый, как король! Глаза и лицо его так и сияли. Мать целовала его в губы и плакала от радости, а он обнимал её и ласково кивал головою всей знакомой мебели – и сундуку, на котором стояли чайные чашки и цветы в стаканах, и деревянной скамье, на которой спал мальчиком. Старый же барабан он вытащил, поставил посреди пола и сказал:

– Отец непременно выбил бы теперь на нём дробь! Так я сделаю это за него! – И он выбил на барабане такую дробь, что твой град! А барабан был так польщён этим, что кожа на нём взяла да и лопнула.

– Кулак-то у него здоровый! – заметил барабан. – Теперь у меня на всю жизнь останется воспоминание о нём! Да и мать-то, того и гляди, лопнет от радости, глядя на своего «золотого мальчика!»

Вот и вся история о «золотом мальчике».

^[1]Т. е. «Лотта умерла». – Строфа из уличной песни

Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. В детской



Папаша с мамашей и все братья и сёстры уехали в театр; дома

остались Аня да её крёстный.

– Мы тоже устроим себе театр! – сказал он. – Сейчас же начнём представление.

– Да, ведь, у нас нет театра! – возразила Аня. – Нет и актёров! Моя старая кукла не годится, она стала такая гадкая, а новую нельзя взять, – платьице изомнёшь!

– Актёры найдутся, если только не брезговать тем, что есть под рукой! – сказал крёстный. – Ну, построим сначала театр. Вот сюда одну книжку, сюда другую, сюда третью; все три поставим вкось. Теперь по другую сторону ещё три; вот и кулисы готовы. А этот старый ящик будет заднею стеною, – мы повернём его сюда дном. Сцена, как всякий видит, представляет комнату. Теперь дело за актёрами! Посмотрим-ка, не найдётся ли чего подходящего в ящике с игрушками. Сначала надо отыскать действующих лиц, а потом уж сочинять пьесу; одно ведёт за собою другое и выходит чудесно! Вот трубка от чубука, а вот перчатка без пары; пусть это будет папаша и дочка!

– Так это всего только два лица! – сказала Аня. – Вон лежит старый мундирчик брата. Нельзя ли и его взять в актёры?

– Отчего же нет? Ростом-то он для этого вышел. Он будет у нас женихом. В карманах у него пусто, – вот уж и интересная завязка: тут пахнет несчастною любовью!.. А вот ещё орешный шелкун – сапог со шпорою! Топ, топ! То-то лихой мазурист! Он топает и прищёлкивает! Он будет у нас немилым женихом. Ну, какую же пьесу ты хочешь? Драму или комедию из семейного быта?

– Комедию! – сказала Аня. – Все так любят комедии. А ты знаешь какую-нибудь?

– Целую сотню! – ответил крёстный. – Самый большой успех имеют французские, но они неподходящи для девочек. Мы возьмём лучше какую-нибудь из своих; они все, ведь, на один лад. Ну, я встряхиваю мешок! «Ку-ка-ре-ку! Обновись!» Вот теперь все комедии обновились! Слушай же афишу. – И крёстный взял газету и стал читать, как будто по афише:

«Трубка и умный малый».

Комедия в одном действии.

Действующие лица:

- Господин Трубка – отец.
- Госпожа Перчатка – дочь.
- Господин Мундир – милый.
- Фон-Сапог – немилый.

– Теперь начнём! Занавес поднят, – у нас его нет, ну, значит, он поднят. Все лица налицо. Я поведу речь за папашу. Он сегодня сердит, – видишь, потемнел весь от куренья!

«Вздор, вздор, ерунда! Я хозяин в доме! Я отец своей дочери! Извольте слушаться меня! Фон-Сапог такая персона, что хоть глядись в него, как в зеркало! Он из сафьяна, да ещё со шпорою! Тринь-бринь! Тринь-бринь! Он и женится на моей дочери!»

– Теперь следи за мундиром, Аня! – продолжал крёстный. – Теперь он начнёт. Он носит отложной воротничок, очень скромн, но сознаёт собственное достоинство и имеет право говорить так: «На мне нет ни одного пятна! Добрые качества тоже надо принимать в расчёт. А я, ведь, из самой добротной материи, да ещё с галунами!»

«Ну, они только до свадьбы и продержатся! В стирке полиняют!»

– Это говорит опять господин Трубка. – «Фон-Сапог, тот непромокаем, из крепкой и в то же время тонкой кожи, может скрипеть, щёлкать шпорою, и похож на Италию!»

– Но они должны говорить стихами! – заметила Аня. – Говорят, это выходит так красиво!

– Можно и так! – ответил крёстный. – Захочет публика, актёры заговорят и стихами. Ну, гляди же на барышню-Перчатку; гляди, как она ломает пальчики:

«Лучше век мне быть без пары,
Только бы избегнуть кары –
Жизнь с постылым проводить!
Мне того не пережить!
□Ох, ох, ох,
Лопну, лопну, вот вам Бог!»

«Вздор!» – Это уж отвечает папаша-Трубка. А вот теперь говорит господин Мундир:

«Перчатка-душа,
Ты так хороша!
Ты мне суждена,
Моей быть должна!»

– Тут Фон-Сапог шаркает, топает, щёлкает шпорою и опрокидывает три кулисы разом.

– Чудо, как хорошо! – воскликнула Аня.

– Тс! – сказал крёстный. – Молчаливое одобрение говорит о высокой степени воспитанности зрителей первых рядов. Теперь барышня-Перчатка поёт свою большую арию с руладами:

«Я так убита,
Так сердита,
Что вам клянусь,
Я разреву-у-усь!..»

– Теперь самый интересный момент, Аня! Видишь, господин Мундир расстёгивается и обращает свою речь прямо к тебе, чтобы ты похлопала ему! Но ты не хлопай! Так бонтоннее^[1]! Послушай, как он шуршит: «Чаша терпения моего переполнилась! Берегитесь! Я подведу интригу! Вы – Трубка, а я – малый с головой! Фьють! и – нет вас!» – Гляди, Аня! Это самая интересная сцена во всей комедии! Мундир схватывает Трубку и засовывает к себе в карман, – лежи тут! – а затем говорит: «Вы теперь у меня в кармане и не выйдете оттуда, пока не обещаете соединить меня узами брака с вашей дочерью, Перчаткой с левой руки! Я протяну ей свою правую.»

– Ужасно хорошо! – опять воскликнула Аня.

– А старая Трубка отвечает:

«Что делать мне?
Горю, как в огне!
Ах, где ж мой чубук?
Ведь, я – как без рук!
О, сжальтесь, простите,
Меня отпустите!
Я дочь вам отдам,

Венчаю вас сам!»

– И конец? – спросила Аня.

– Что ты! – ответил крёстный. – Конец только для Фон-Сапога. Жених и невеста опускаются на колени; первая поёт:

«Отец, оживаю!»

Второй:

«Я вас отпускаю!»

Господин Трубка благословляет их, а вся мебель поёт хором:

«То-то любящий отец!

Он повёл их под венец!

Тут и пьесе всей конец!»

– Вот теперь похлопаем! – прибавил крёстный. – И вызовем их всех, вместе с мебелью; она, ведь, из красного дерева!

– А что, наша комедия так же хороша, как та, что идёт в настоящем театре? – спросила Аня.

– Она ещё лучше! – ответил крёстный. – Она короче, даром доставлена нам прямо на дом, и помогла скоротать время до чаю!

^[1]Бонтон – устар. хороший тон.



 Загрузка...

Андерсена. Ветряная мельница



На холме горделиво возвышалась мельница; она таки и была горденька.

– И вовсе я не горда! – говорила она. – Но я очень просвещена и снаружи и внутри. Солнце и месяц к моим услугам и для внутреннего и для наружного употребления; кроме того у меня есть в запасе стеариновые свечи, лампы с ворванью, и сальные свечки. Смеею сказать, что я просвещена! Я – существо мыслящее и так хорошо устроена, что просто любо. В груди у меня отличный жернов, а на голове, прямо под шляпой, четыре крыла. У птиц же всего по два крыла, и они таскают их на спине! Я голландка родом – это видно по моей фигуре – «летучая голландка»! «Летучий голландец», я знаю, явление сверхъестественное, но во мне нет ничего неестественного! Вокруг живота у меня идёт целая галерея, а в нижней части – жилое помещение. Там живут мои мысли. Главная, которая всем управляет, зовётся остальными мыслями «хозяином». Он знает, чего хочет, стои́т куда выше крупы и муки, но и у него есть ровня; зовут её «хозяйкою». Она – душа всего дела; у неё губа вообще не дура, она тоже знает, чего хочет, и знает, что ей по силам; нежна она, как дуновение ветерка, сильна, как буря, и умеет добиваться своего исподволь. Она моя чувствительная сторона, хозяин же – положительная; но оба они составляют в сущности одно и зовут друг друга «своею половиной». Есть у них и малютки, маленькие мысли, которые могут со временем вырасти.

Малыши эти поднимают порою такую возню! На днях, когда я умно и рассудительно позволила хозяину и его подручному расследовать в моей груди жернова и колёса, – я чувствовала, что там что-то не ладно, а, ведь, нужно же знать, что происходит в тебе самой! Так вот, малыши подняли тогда такую возню! А это некстати, если стоишь так высоко, как я! Надо же помнить, что стоишь на виду и в полном освещении; суд людской то же освещение! Да, что, бишь, я хотела сказать? Ах, да – ужасная возня малышей! Самый младший добрался до моей шляпы и принялся трещать языком так, что у меня защекотало внутри. Но маленькие мысли могут вырасти, я это испытала; да и извне могут прийти мысли, и не совсем моей породы: я, как далеко ни смотрю кругом, нигде не вижу себе подобной, никого, кроме себя! Но и в бескрылых домах, где мелют без жерновов, одними языками, тоже водятся мысли. Эти мысли приходят к моим и выходят за них замуж, – как они это называют. Удивительно! Да, много есть на свете удивительного. Вот, например: со мной или во мне что-то совершилось; что-то как будто изменилось в механизме. Мельник как будто переменял свою «половину» на более нежную, молодую, благочестивую и сам стал оттого мягче душою; «половина» его как будто изменилась, а в сущности осталась тою же самою, только смягчилась с годами. И вот, всё горькое улетучилось, и дело пошло ещё лучше. Дни идут за днями, всё вперёд да вперёд, на радость и счастье, и вот, наконец – да, об этом и сказано и написано в книгах – придёт день, когда меня не станет, и всё-таки я останусь! Я разрушусь, чтобы восстать вновь в ещё лучшем виде; я перестану существовать и всё-таки буду продолжать существовать. Стану другою и в то же время останусь сама собою! Мне трудно понять это, как ни просвещена я солнцем, луною, стеарином, ворванью и салом! Но я твёрдо знаю, что мои старые брёвна и кирпичи восстанут из мусора. Надеюсь, что я сохраню и свои старые мысли: хозяина, хозяйку, всех больших и малых, всю семью, как я называю их, всю мыслящую компанию, – без них я не могу обойтись! Надеюсь тоже, что я останусь самою-собою, такою, какова я есть, с жерновом в груди, крыльями на голове и галереею вокруг живота, а не то и я не узнаю самое себя, да и

другие не узнают меня и не скажут больше: «вот у нас на холме гордо возвышается мельница, но сама-то она вовсе не горда!» Так вот что говорила мельница; говорила она и ещё много чего, но это главное.

И дни шли за днями, и последний из них был для неё последним. Мельница загорелась; пламя вспыхнуло, бросилось наружу, внутрь, лизнуло брёвна и доски, а потом и пожрало их все. Мельница обрушилась, и от неё осталась одна зола; пожарище ещё дымилось, но скоро ветер развеял дым.

С живыми обитателями мельницы ничего не случилось при этой оказии; они только выиграли. Семья мельника – одна душа, много голов, составлявших одно целое, приобрела новую, чудесную мельницу, которую могла быть вполне довольна. Мельница была с виду точь в точь такая же, как старая, и о ней тоже говорили: «вон на холме гордо возвышается мельница!» Но эта была устроена лучше, более современно, – всё, ведь, идёт вперёд. Старые же брёвна, источенные червями, истлели, превратились в прах, в золу, и тело мельницы не восстало из праха, как думала она. Она понимала всё сказанное в буквальном смысле, а нельзя же всё понимать буквально!

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Блуждающие огоньки в городе

Жил-был человек; он когда-то знал много-много новых сказок, но теперь запас их – по словам его – истощился. Сказка, которая является сама собою, не приходила больше и не стучалась к нему

в двери. Почему? По правде-то сказать, он сам несколько лет не вспоминал о ней и не поджидал её к себе в гости. Да она, конечно, и не приходила: была война, и в стране несколько лет стояли плач и стон, как и всегда во время войны.

Аисты и ласточки вернулись из дальнего странствования, – они не думали ни о какой опасности; но явиться-то они явились, а гнёзд их не оказалось больше: они сгорели вместе с домами. Границы страны были почти стёрты, неприятельские кони топтали древние могилы. Тяжёлые, печальные то были времена! Но и им пришёл конец.

Да, им пришёл конец, а сказка и не думала стучаться в те двери к сказочнику; и слуха о ней не было!

«Пожалуй, и сказкам пришёл конец, как многому другому!» вздыхал сказочник. «Но нет, сказка, ведь, бессмертна!»

Прошёл год с чем-то, и он стал тосковать.

«Неужели же сказка так и не придёт, никогда больше не постучится ко мне?» И она воскресла в его памяти, как живая. В каких только образах она ему не являлась! То в образе прелестной молодой девушки, олицетворённой весны, с сияющими, как глубокие лесные озёра, очами, увенчанной диким ясминником, с буковой ветвью в руке. То в образе коробейника, который, открыв свой короб с товарами, развеивал перед ним ленты, испещрённые стихами и преданиями старины. Милее же всего было ему её появление в образе старой, убелённой сединами бабушки, с большими, умными, светлыми глазами. Вот у неё так был запас рассказов о самых древнейших временах, куда древнее тех, когда принцессы ещё пряли на золотых прялках, а их сторожили драконы и змеи! И она передавала их так живо, что у слушателя темнело в глазах, а на полу рисовались кровавые пятна. Жутко было слушать, и всё-таки куда как занятно! Всё это было, ведь, так давно-давно!

«Неужели же она так-таки и не постучится больше?» спрашивал себя сказочник, не сводя взгляда с двери; под конец у него потемнело в глазах, а на полу замелькали чёрные пятна; он и сам не знал, что это – кровь или траурный креп, в который облеклась страна после тяжёлых, мрачных дней скорби.

Сидел он, сидел, и вдруг ему пришла мысль: а что, если сказка

скрывается, как принцесса добрых старинных сказок, и ждёт, чтобы её разыскали? Найдут её, и она засияет новой красою, лучше прежнего!

«Кто знает! Может быть, она скрывается в брошенной соломинке, колеблющейся вон там, на краю колодца? Тише! Тише! Может быть, она спряталась в высохший цветок, что лежит в одной из этих больших книг на полке?»

Сказочник подошёл к полке и открыл одну из новейших, просветительных книг. Не тут ли сказка? Но там не было даже ни единого цветка, а только исследование о Гольгере Данске^[1]. Сказочник стал читать и прочёл, что история эта – плод фантазии одного французского монаха, роман, который потом взяли да перевели и «тиснули на датском языке», что Гольгера Данске вовсе и не существовало никогда, а, следовательно, он никогда и не появится опять, о чём мы поём и чему так охотно верим. Итак, Гольгер Данске, как и Вильгельм Телль, оказывался одним вымыслом! Всё это было изложено в книге с подобающею ученостью.

– Ну, а я во что верю, в то и верю! – сказал сказочник. – Без огня и дыма не бывает!

И он закрыл книгу, поставил её на полку и подошёл к живым цветам, стоявшим на подоконнике. Не тут ли спряталась сказка? Не в красном ли тюльпане с жёлтыми краешками, или, может быть, в свежей розе, или в яркой камелии? Но между цветами прятались только солнечные лучи, а не сказка.

«Цветы, росшие тут в тяжёлое скорбное время, были куда красивее, но их срезали все до единого, сплели из них венок и положили в гроб, который накрыли распущенным знаменем. Может быть, с теми цветами схоронили и сказку? Но цветы знали бы о том, самый гроб, самая земля почувствовали бы это! Об этом рассказала бы каждая пробившаяся из-под земли былинка! Нет, сказка умереть не может! Она бессмертна!.. А может быть, она и приходила сюда, стучалась в дверь, но кому было услышать её стук, кому было дело до неё? В то мрачное время и на весеннее солнышко-то смотрели чуть ли не с озлоблением, сердились, кажется, даже на щебетание пташек, на жизнерадостную зелень!

Язык не поворачивался тогда пропеть хоть одну из старых, неувядающих народных песен; их схоронили вместе со многим, что было так дорого сердцу! Да, сказка отлично могла стучаться в двери, но никто не слышал этого стука, никто не пригласил её войти, она и ушла!

Пойти, поискать её!

За город! В лес, на берег моря!»

За городом стоит старый замок; стены сложены из красного кирпича, на башне развевается флаг. В тонко-вырезной листве буковых деревьев поёт соловей, любясь на цветы яблони и думая, что перед ним розы. Летом здесь суетятся пчёлы, носясь гудящим роем вокруг своей царицы, а осенью бури рассказывают о дикой охоте, об увядающих и опадающих человеческих поколениях и листьях. На Рождество сюда доносится с моря пение диких лебедей, а в самом старом доме, у печки, в это время так уютно, так приятно сидеть и слушать сказки и предания!

В нижней, старой части сада находилась каштановая аллея, так и манившая своим полумраком. Туда-то и направился сказочник. Здесь некогда прогудел ему ветер о Вальдемаре До и его дочерях, а Дриада, обитавшая в дереве – это и была сама бабушка-сказка – рассказала последний сон старого дуба. Во времена прабабушки здесь росли подстриженные кусты, теперь же – только папоротник да крапива. Они разрослись над валявшимися тут обломками старых каменных статуй. Глаза статуй заросли мхом, но видели они не хуже прежнего, а вот сказочник так и здесь не увидел сказки.

Куда же, однако, она девалась?

Высоко над головой его и старыми деревьями носились стаи ворон и каркали: Кра-кра! Прочь! Прочь!

Он и ушёл из сада на вал, окружавший дом, а оттуда – в ольховую рощу. Здесь стоял шестиугольный домик, при котором был птичий двор. В горнице сидела старуха, смотревшая за птицею; у неё было на счету каждое снесённое яйцо, каждый вылупившийся цыплёнок, но всё-таки она не была сказкой, которую разыскивал наш сказочник, – на это у неё имелись доказательства: метрическое свидетельство и свидетельство о привитии оспы; оба хранились в её сундуке.

Неподалеку от домика возвышался холм, поросший тёрном и жёлтой акацией. Тут же лежал старый могильный памятник, привезённый сюда, много лет тому назад, со старого кладбища, как память об одном из честных «отцов города». Памятник изображал его самого, а вокруг него были высечены из камня его супруга и пять дочерей, все со сложенными руками и в высоких стоячих воротничках. Долгое, пристальное созерцание памятника действовало на мысли, а мысли, в свою очередь, действовали на камень, и этот начинал рассказывать о старине; так по крайней мере бывало с человеком, разыскивавшим сказку. Придя сюда, он увидел на лбу каменного «отца города» живую бабочку; вот она взмахнула крылышками, полетала-полетала и уселась на травку неподалеку от памятника, как бы желая обратить внимание сказочника на то, что там росло. А рос там четырёхлистный клевер; да не одна такая былинка, а целых семь, одна подле другой. Да, счастье коли привалит, так уж привалит разом! Сказочник сорвал их все и сунул себе в карман. Счастье, ведь, не хуже чистых денег, но новая хорошая сказка была бы, однако, ещё лучше – думалось сказочнику. Сказки-то он, однако, так и не нашёл.

Солнце садилось, большое, красное; луга дымились, Болотница варила пиво.

Свечерело; сказочник стоял один в своей комнате и смотрел через сад и луг на болото и морской берег. Ярко светил месяц; над лугами стоял такой туман, что луг казался огромным озером. Он и был им когда-то, гласили предания; теперь же, благодаря лунному свету, предание превратилось в действительность. Сказочнику вспомнилось то, что он прочёл сегодня в книге о Вильгельме Телле и Гольгере Данске – будто они никогда не существовали; они, однако, жили в народном поверье, как вот и это озеро, вновь ставшее вдруг действительностью! Значит, и Гольгер Данске может воскреснуть!

В эту минуту что-то сильно стукнуло в окно. Что это? Птица, летучая мышь, сова? Ну, таким гостьям не отворяют! Но вот, окно распахнулось само-собою, и в него просунулась старушечья голова.

– Это ещё что? – спросил сказочник. – Кто это? И как она может

заглянуть в окно второго этажа? Что она, на лестнице стоит?

– У вас в кармане четырёхлистный клевер! – отозвалась старуха.

– У вас даже целых семь таких былинки, и одна из них шестилистная!

– Кто ты? – спросил её сказочник.

– Болотница! – ответила она. – Болотница, что варит пиво. Я и возилась с пивом, да один из болотных чертенят расшалился, выдернул из бочки втулку и бросил её сюда во двор, прямо в окно. Теперь пиво так и бежит из бочки, а это невыгодно.

– А скажите... – начал было сказочник.

– Пойдите маленько! – прервала его Болотница. – Теперь у меня есть дело поважнее! – И она исчезла.

Сказочник только что собрался затворить окно, как старуха показалась опять.

– Ну вот, дело и сделано! – сказала она. Остальную половину пива я доварю завтра, коли погода будет хороша. О чём же вы хотели спросить меня? Я вернулась потому, что всегда держу слово, да к тому же у вас в кармане семь былинки четырёхлистного клевера, из которых одна даже шестилистная, – это внушает уважение! Такой четырёхлистник – что твой орден; правда, он растёт прямо у дороги, но находит-то его не всякий! Так что же вы хотели спросить? Ну, не мямлите же, я тороплюсь! Сказочник и спросил о сказке, спросил, не встречала ли её Болотница.

– Ох, ты, пиво моё, пиво! – сказала старуха. – Вы всё ещё не сыты сказками? А я так думаю, что они всем уж набили оскомину. Теперь у людей есть чем заняться другим! Даже дети-то, и те переросли сказки. Теперь подавайте мальчикам сигары, а девочкам кринолины; вот что им по вкусу! А то сказки?! Нет, теперь есть чем заняться поважнее!

– Что вы хотите сказать? – спросил сказочник. – И что вы знаете о людях? Вы, ведь, имеете дело только с лягушками да блуждающими огоньками!

– Да, берегитесь-ка этих огоньков! – сказала старуха. – Они теперь на воле! Вырвались! Об них-то мы и поговорим с вами! Только приходите ко мне в болото, а то меня там дело ждёт. Там я и расскажу вам обо всём. Но торопитесь, пока ваши

четырёхлистные да одна шестилистная былинки клевера не завяли, и месяц не зашёл.

И Болотница исчезла.

Башенные часы пробили двенадцать, и не успели ещё они пробить четверть первого, как сказочник, выйдя из дома и миновав сад, стоял на лугу. Туман улёгся; Болотница кончила варку пива.

– Долгонько же вы собирались! – сказала ему она. – Нечистая сила куда проворнее людей; я рада, что родилась Болотницею!

– Ну, что же вы мне скажете? – спросил сказочник. – Что-нибудь о сказке?

– Вы ни о чём другом и говорить не можете? – ответила старуха.

– Так речь пойдёт о поэзии будущего?

– Только не залетайте слишком высоко! – сказала Болотница. – Тогда я и буду с вами разговаривать. Вы только и бредите поэзией, говорите только о сказке, точно она всему миру голова! А она хоть и постарше всех, да считается-то самую младшею, вечно юною! Я хорошо знаю её! И я когда-то была молода, а молодость, ведь, не то, что детская болезнь. И я когда-то была хорошенькою лесною девой, плясала вместе с подругами при лунном свете, заслушивалась соловья, бродила по лесу и не раз встречала девицу-сказку, – она вечно шатается по свету. То она ночует в полураспустившемся тюльпане, то в жёлуде, то шмыгнёт в церковь и закутается там в креп, ниспадающий с подсвечников в алтаре!

– Да вы очень сведущи! – заметил сказочник.

– Должна же я знать по крайней мере с ваше! – отозвалась Болотница. – Поэзия и сказка обе одного поля ягоды, и пора им обеим убираться по добру по здорову! Их теперь можно отлично подделывать; и дёшево и сердито выходит! Хотите, я дам вам их сколько вам угодно задаром! У меня полный шкаф поэзии в бутылках. В них налита эссенция, самый экстракт поэзии, извлечённый из разных корней – и горьких, и сладких. У меня имеются все сорта поэзии, в которой нуждаются люди. По праздникам я употребляю эти эссенции вместо духов, – лью несколько капель на носовой платок.

– Удивительные вещи вы рассказываете! – проговорил сказочник.

– Так у вас поэзия разлита по бутылкам?

– И у меня её столько, что вам и не переварить! – ответила старуха. – Вы, ведь, знаете историю о девочке, наступившей на хлеб, чтобы не запачкать новых башмачков? Она и написана и напечатана.

– Я сам рассказал её! – сказал сказочник.

– Ну так вы знаете её и знаете, что девочка провалилась сквозь землю, ко мне в пивоварню, как раз в то время, когда у меня была в гостях чёртова прабабушка; она пришла посмотреть, как варят пиво, увидела девочку и выпросила её себе в истуканы, на память о посещении пивоварни. Чёртова прабабушка получила, что желала, меня же отдала такую вещь, которая мне совсем не ко двору! Она изволила подарить мне дорожную аптечку, шкаф, полнёхонький бутылок с поэзией! Прабабушка сказала, где надо поставить шкаф, там он и стоит до сих пор. Взгляните! У вас в кармане семь четырёхлистных былинков клевера, из которых одна даже шестилистная, так вам можно взглянуть!

И в самом деле, среди болота лежало что-то вроде большого ольхового пня, но оказалось, что это-то и есть прабабушкин шкаф. Он был открыт для самой Болотницы и для всякого, кто только знал, где должен стоять шкаф^[21], – сказала Болотница.

Шкаф открывался и спереди, и сзади, со всех сторон и углов. Прехитрая штука! И всё же на вид он был ни дать ни взять старый ольховый пень! Тут имелись в искусных подделках всевозможные поэты, но преобладали всё-таки туземные. Из творений каждого был извлечен самый их дух, квинтэссенция их содержания; затем, добытое было раскритиковано, обновлено, сконцентрировано и закупорено в бутылку. Руководимая высоким инстинктом, – как принято говорить в тех случаях, когда нежелательно назвать это гениальностью – чёртова прабабушка отыскивала в природе то, что отзывалось тем или другим поэтом, прибавляла к этому немножко чертовщины и таким образом запасалась поэзией данного рода.

– Ну покажите же мне эту поэзию! – попросил сказочник.

– Сперва вам надо послушать кое о чём поважнее! – возразила Болотница.

– Да, ведь, мы как раз у шкафа! – сказал сказочник и заглянул

в шкаф. – Э, да тут бутылки всех величин! Что в этой? Или в этой?

– В этой так называемые «майские духи». Я ещё не нюхала их, но знаю, что стоит чуть плеснуть из этой бутылки на пол, и сейчас перед тобой будет чудное лесное озеро, поросшее кувшинками. Если же капнуть всего капельки две на тетрадку ученика, хотя бы из самого низшего класса – в тетрадке окажется такая душистая комедия, что хоть сейчас ставь её на сцену да засыпай под неё – так сильно от неё пахнет! На бутылке написано: «Варки Болотницы» – вероятно, из вежливости ко мне!

А вот бутылка со скандальной поэзией. С виду в ней налита одна грязная вода; так оно и есть, но к этой воде подмешан шипучий порошок из городских сплетен, три лота лжи и два грана истины; всё это перемешано берёзовым прутом, не из розог, помоченных в рассоле и обрызганных кровью преступника, даже не из пучка школьных розог, нет, просто из метлы, которою прочищали уличную канаву.

Вот бутылка с минорно-набожною поэзией. Каждая капля издаёт визг, напоминающий скрипение ржавых петель в воротах ада; извлечена же эта эссенция из пота и крови самобичующихся. Поговаривают, правда, что это только голубиная желчь, но другие спорят, что голубь – птица благочестивая, и в ней даже желчи нет; видно, что эти мудрецы не учились естественной истории!

Потом сказочник увидел ещё бутылку. Вот так была бутылка! Из бутылок бутылка! Она занимала чуть не половину шкафа; это была бутылка с «обыкновенными историями». Горлышко её было обвязано свиною кожей и обтянуто пузырём, чтобы эссенция не выдохлась. Каждый народ мог добыть из неё свой национальный суп, – всё зависело от того, как повернуть и потряхнуть бутылку. Тут был и старинный немецкий кровяной суп с разбойничьими клёцками, и жиденький домашний супец, сваренный из настоящих надворных советников вместо корней; на поверхности его плавали философские жирные точки. Был тут также и английский гувернантский суп, и французский «potage à la Kock», сваренный из петушьей ноги и воробьиного яйца, и на датском языке носящий название «канканного супа». Лучшим же из всех супов

был копенгагенский. Так по крайней мере говорили свои люди. В бутылке из-под шампанского содержалась трагедия, она могла и должна была вышибать пробку и хлопнуть; комедия же была похожа на мелкий-мелкий песок, пыль, которую можно было бы пустить людям в глаза; это была, конечно, высокая комедия. Низкая комедия, впрочем, тоже имелась в особой бутылке, но она состояла из одних афиш будущего, в которых название пьесы играло главную роль. И тут попадались замечательные названия; например: «А ну, плюнь-ка в нутро!»^[3], «В морду!», «Душка-скотина!», «Пьяна, как стелька!».

Сказочник слушал, слушал и совсем задумался, но мысли болотницы забегали вперёд, и ей хотелось поскорее положить этому думанью конец.

– Ну, теперь насмотрелись на это сокровище! Знаете теперь, в чём тут дело! Но есть кое-что поважнее, чего вы ещё не знаете: блуждающие огоньки в городе! Это поважнее всякой поэзии и сказки. Мне бы следовало, конечно, держать язык за зубами, но судьба сильнее меня, на меня точно нашло что-то, язык так вот и чешется! Блуждающие огоньки в городе! Вырвались на волю! Берегитесь их, люди?

– Ни слова не понимаю! – сказал сказочник.

– Присядьте, пожалуйста, на шкаф! – сказала старуха. – Только не провалитесь в него, да не перебейте бутылок! Вы, ведь, знаете, что в них. Я расскажу вам сейчас о великом событии; случилось оно не далее, как вчера, но случилось и прежде. Длиться же ему ещё триста шестьдесят четыре дня. Вы, ведь, знаете, сколько дней в году?

И она повела рассказ.

– Вчера в болоте была такая суетня! Праздновали рождение малюток! Родилось двенадцать блуждающих огоньков из того сорта, что могут по желанию вселяться в людей и действовать между ними, как настоящие люди. Это великое событие в болоте, вот почему по болоту и лугу и началась пляска. Плясали все блуждающие огоньки – и мужского и женского пола. Среди них есть и женский пол, но о нём не принято упоминать. Я сидела на шкафу, держа на коленях двенадцать новорожденных огоньков. Они

светились, как Ивановы червячки, начинали уже попрыгивать и с каждой минутой становились всё больше и больше. Не прошло и четверти часа, как все они стали величиной со своих папаш или дядюшек. По древнему закону блуждающие огоньки, родившиеся в такой-то час и минуту, при таком именно положении месяца, какое было вчера, и при таком ветре, какой дул вчера, пользуются особым преимуществом, принимать человеческий образ и действовать, как человек – но, конечно, сообразно с своею натурой – целый год. Такой блуждающий огонёк может обежать всю страну, даже весь свет, если только не боится упасть в море или погаснуть от сильного ветра. Он может прямёхонько вселиться в человека, говорить за него, двигаться и действовать по своему усмотрению. Он может избрать для себя любой образ, вселиться в мужчину или женщину, действовать в их духе, но сообразно своей натуре. Зато в продолжении года он должен совратить с прямого пути триста шестьдесят пять человек, да совратить основательно. Тогда блуждающий огонёк удостоивается у нас высшей награды: его жалуют в скороходы, что бегут перед парадною колесницей чёрта, одевают в огненно-красную ливрею и даруют ему способность изрыгать пламя прямо изо рта! А простые-то блуждающие огоньки глядят на это великолепие да только облизываются! Но честолюбивому огоньку предстоит тоже немало хлопот и забот и даже опасностей. Если человек разгадает, с кем имеет дело, и сможет задуть огонёк – тогда этот пропал: полезай назад в болото! Если же сам огонёк не выдержит срока испытания, соскучится по семье, он тоже пропал, не может уже гореть так ярко, скоро потухает, и – навсегда. Если же год пройдёт, а он не успеет за это время совратить с пути истины трёхсот шестидесяти пяти человек, его наказывают заключением в гнилушку: лежи себе там, да свети, не шевелясь! А это для шустрого блуждающего огонька хуже всякого наказания. Всё это я знала и рассказала двенадцати молодым огонькам, которых держала на коленях, а они так и бесились от радости. Я сказала им, что вернее, удобнее всего отказаться от чести и ничего не делать. Но огоньки не захотели этого: все они уже видели себя в огненной ливрее и с пламенем изо рта! «Оставайтесь-ка дома!» советовали им некоторые из старших.

«Подурачьте людей!» говорили другие. «Люди осушают наши луга! Что будет с нашими потомками?»

– Мы хотим гореть, пламя нас возьми! – сказали новорожденные огоньки, и слово их было твёрдо.

Сейчас же устроился минутный бал, – короче балы уж не бывают! Лесные девы сделали по три тура со всеми гостями, чтобы не показаться спесивыми; вообще же они охотнее танцуют одни. Потом начали дарить новорожденным «на зубок», как это называется. Подарки летели со всех сторон, словно в болото швыряли камушки. Каждая из лесных дев дала огонькам по клочку от своего воздушного шарфа. «Возьмите их», сказали они: «и вы сейчас же выучитесь труднейшим танцам и изворотам, которые могут понадобиться в минуту трудную, а также приобретёте надлежащую осанку, так что не ударите лицом в грязь в самом чопорном обществе!» Ночной ворон выучил всех новорожденных огоньков говорить: «Браво! Браво!» и говорить всегда кстати, а это, ведь, уж такое искусство, которое никогда не остаётся без награды. Сова и аист тоже кое-что обрели в болото, но «о такой малости не стоит и говорить» – заявили они сами, мы и не будем говорить. В это же время мимо проносилась «дикая охота»^[4] короля Вальдемара»; господа узнали, что за пир у нас идёт, и прислали в подарок двух лучших собак; они носились с быстротой ветра и могли снести на спине хоть трёх блуждающих огоньков. Две старые бабы-кошмарихи, которые промышляют ездой, тоже присутствовали на пиру и научили огоньков искусству пролезать в замочную скважину, – таким образом перед ними были открыты все двери. Они предложили также отвезти молоденьких огоньков в город, где знали все ходы и выходы. Обыкновенно кошмарихи ездят, сидя верхом на собственных косах, – они связывают их на кончике в узелок, чтобы сидеть твёрже. Теперь же они уселись верхом на диких охотничьих собак, взяли на руки молоденьких огоньков, которые отправлялись в свет соблазнять людей, и – марш! Всё это было вчера ночью. Теперь блуждающие огоньки в городе и взялись за дело, но как, где? Да, вот скажите-ка мне! Впрочем, у меня большой палец на ноге – что твой барометр, и кое о чём да даёт мне знать.

– Да это целая сказка! – воскликнул сказочник.

– Нет, только присказка, а сказка-то ещё впереди! – ответила Болотница. – Вот вы и расскажите мне, как ведут себя огоньки, какие личины на себя надевают, чтобы совращать людей?

– Я думаю, что об огоньках можно написать целый роман в двенадцати частях, по одной о каждом, или ещё лучше – народную комедию! – сказал сказочник.

– Ну и напишите! – сказала старуха. – Или лучше отложите попечение!

– Да, оно, пожалуй, и удобнее и приятнее! – отозвался сказочник. – По крайней мере тебя не будут трепать в газетах, а от этого, ведь, приходится иной раз так же тяжело, как блуждающему огоньку от сиденья в гнилушке!

– Мне-то это всё едино! – сказала старуха. – А лучше всё-таки предоставьте писать об этом другим – и тем, кто может и тем, кто не может! Я же дам им старую втулку от моей бочки; ею они могут открыть себе шкаф с поэзией, разлитую по бутылкам, и почерпнуть оттуда всё, чего у них самих не хватает. Ну, а вы, милый человек, по-моему, довольно попачкали себе пальцы чернилами, да и в таких уже годах, что пора вам перестать круглый год гоняться за сказкой! Теперь есть чем заняться поважнее. Вы, ведь, слышали, что случилось?

– Блуждающие огоньки в городе! – ответил сказочник. – Слышать-то я слышал и понял! Но что же мне, по-вашему, делать? Меня забросают грязью, если я скажу людям: «Берегитесь, вон идёт блуждающий огонёк в почётном мундире!»

– Они ходят и в юбках! – сказала болотница. – Блуждающие огоньки могут принимать на себя всякие личины и являться во всех местах. Они ходят и в церковь – не ради молитвы, конечно! Пожалуй, кто-нибудь из них вселится в самого пастора! Они произносят речи и на выборах, но не на пользу страны и государства, а на свою собственную. Они вмешиваются и в области искусства, но удастся им утвердить там свою власть – прощай искусство! Однако, я всё болтаю да болтаю, язык у меня так и чешется, и я говорю во вред своей же семье! Но мне, видно, на роду написано быть спасительницей рода человеческого! Конечно, я действую не по доброй воле и не ради

медали! Что ни говори, однако, я творю глупости: рассказываю всё поэту, – скоро об этом узнает и весь город!
– Очень ему нужно знать это! – сказал сказочник. – Да ни один человек и не поверит этому! Скажи я людям: «Берегитесь! Блуждающие огоньки в городе!» они подумают, что я опять сказки рассказывать принялся!

^[1] Гольгер Данске, Ожье Датчанин – один из героев французских эпических сказаний, национальный герой Дании.

^[2] «Он знает, где должен стоять шкаф», – говорят у датчан о человеке, который твёрдо знает, чего он хочет.

^[3] Все выражения взяты из уличного жаргона; первое нуждается в объяснении: когда мальчишка получает в подарок первые часы, он, конечно, сейчас бежит на улицу похвастаться ими перед товарищами, а те требуют от него доказательства, что часы действительно его: «А ну, плюнь-ка в нутро!»

^[4] Дикая охота – миф из скандинавской мифологии.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Птица народной песни

Зимняя пора; земля покрыта снежной корою, словно пластом мрамора, высеченного из скалы; небо ясное, чистое; ветер колет, как острие выкованного гномами меча; деревья похожи на

белые кораллы, на цветущие миндальные деревья; свежо здесь, как на вершинах Альп. Чудная ночь озаряется северным сиянием и мерцанием бесчисленных звёздочек.

Завыли бури, облака собираются на небе стаями и отряхают своё лебединое оперение; снежные хлопья порхают в воздухе и усыпают дорогу, дом, открытое поле и глухие переулки. А мы-то сидим у себя в уютной комнате, у пылающей печки и слушаем рассказы о старине – сагу.

«У открытого моря возвышается могильный курган; на нём появляется в полночный час призрак погребённого там героя, конунга. Золотой обруч блестит на его челе, волосы развеваются по ветру, грудь закована в латы. Он печально поник головой и глубоко, горько вздыхает, словно дух обречённый на муки.

Мимо плывёт корабль. Мореплаватели бросают якорь и пристают к берегу. Между ними скальд; он подступает к призраку и вопрошает его: «О чём ты скорбишь и страдаешь?»

Мертвец отвечает: «Никто не воспел моих подвигов; они забыты, умерли вместе со мною. Песнь не разносит мою славу по свету, не говорит о ней сердцам людей – вот отчего я не знаю покоя в могиле!»

И он поведал о своих славных делах и подвигах, оставшихся невоспетыми в его время, – не было скальда.

Старый скальд схватывает свою арфу, ударяет по струнам её... и льется песнь о мужестве героя в юности, о силе его в годах зрелости, о всех его великих и добрых деяниях! Лицо умершего проясняется, словно край облака освещённый луною. Яркое сияние озаряет призрак... Мгновение – и оно погасает, словно сноп северного сияния, а вместе с ним исчезает и самый призрак».

На том месте остался только зелёный холм, да голые камни, без надписей. Но над ними взвилась, одновременно с последним ударом скальда по струнам, прелестная птичка. Она как будто вылетела из самой арфы. Это певчая птичка; она рассыпает трели, как звонкий дрозд, поёт и задушевым человеческим голосом; в её пении слышатся родные отголоски. Птичка понеслась над скалами, над долинами, над полями и лесами; то была бессмертная птица народной песни!

Мы слушаем её пение, слушаем его сейчас, сидя вечернею порою в

тёплой комнате; на дворе же в это время летают белые пчёлы и воет буря. Птичка поёт нам не только суровые богатырские песни, но и нежные любовные мелодии о любви северян; она знает их без конца, без счёта. Знает она и сказки, и пословицы, и поговорки в стихах; она истолковывает нам на нашем родном языке руны – язык мертвецов, заставляет говорить умершие поколения, и мы узнаём их житьё-бытьё; оно воскресает перед нами.

В древние языческие времена, во времена викингов, гнездо птицы качалось на струнах арфы скальда. А в рыцарскую эпоху, когда кулак склонял чашки весов правосудия, когда сила была правом, когда крестьян меняли на собак – тогда где находила себе приют птица народной песни? Невежеству и мелочности не до неё было, но в оконной нише сидела за пергаментом благородная владетельница замка и записывала старые предания в песнях, которые сказывала ей старушка из крестьянской хижины или странствующий коробейник, и вот тут-то вилась и щебетала бессмертная птичка! Птица народной песни, ведь, не умрёт, пока на земле останется для её ног хоть единая точка опоры!

Теперь она поёт нам в тёплой, уютной комнате, а на дворе бушует снежная метель, царит мрак. Птица переводит на наш язык древние руны, и, благодаря ей, мы познаём свою родину. Сам Бог говорит нам на нашем родном языке устами птички. Старые предания восстают из могил, потускневшие краски освежаются. Песня и сказание – благодатный напиток, возвышающий душу и мысль. Простой зимний вечер становится рождественским сочельником! Вьюга крутится, лёд трещит, буря бушует; она сильна, она господствует, но над нею есть ещё Господин.

Зимняя пора; ветер колет, как острие меча, выкованного гномами; вьюга крутится; сдаётся, что она крутится уже целые дни, недели, что весь город погребён под снежными сугробами и погружён в тяжёлый зимний сон. Всё занесено снегом; над белою насыпью возвышается только золотой крест церкви, символ веры в Распятого, и сияет под лучами солнца.

И вот над погребённым городом пролетают птички небесные, большие, и малые. Они щебечут, поют, каждая по-своему.

Прежде всех являются воробьи. Они чирикают о малых мира сего,

обитающих в улицах и переулках, гнёздах и домах. Они знают, что творится и в больших домах, и в надворных флигелях. «Знаем мы этот погребённый город!» говорят они. «Всё живое в нём чирикает по-своему! Пип! Пип!»

Над белою снежною пеленой пролетают и чёрные вороны и вороны. «Кар! Кар!» кричат они. «Город похоронен! Но там всё-таки найдётся ещё чем набить зобы! А это, ведь, первое дело! Так думает большинство, а оно всегда пра-пра-право!»

Пролетают, шумя крылами, и дикие лебеди и поют о всём великом и прекрасном, что ещё пробивается из сердец и мыслей людей, обитающих в этом занесённом снегом городе.

Но не смерть там царит; там кипит жизнь. Мы внемлем ей; она выливается в звуках, мощных, как звуки церковного органа, хватающих за сердце, как мелодии из «Лесного холма», как песнь Оссиана, как бурный полёт валькирий! Какие созвучия! Они говорят нашему сердцу, возвышают мысли, – мы внемлем им в пении птицы народной песни! Мы внемлем её пению, и – с неба веет тёплым дыханием Божиим, ледяная кора даёт трещины, в них проникают лучи солнца, вестники шествующей весны, прилетают птицы – новые птицы всё с теми же старыми, родными песнями! Слушай же, слушай эпос года! Неистовство снежной бури, тяжёлый сон зимней ночи – всё исчезает, всё забывается при звуках чудного пения бессмертной птицы народной песни!

✖ ✖ ✖ ✖ ✖

✖ Загрузка...

**Сказки Ханса Кристиана
Андерсена. Чайник**



Чайник был таки горденёк^[1]; он гордился и фарфором своим, и длинным носиком, и широкой ручкой – всем. У него была приставка и спереди, и сзади; спереди – носик, сзади – ручка; об этом-то он и говорил. О том же, что крышка у него была разбита и склеена – молчал. Это, ведь, недостаток, а кто же любит говорить о своих недостатках, – это и другие сделают. Чашки, сливочник, сахарница, словом, весь чайный прибор, конечно, больше помнил и охотнее говорил о недостатке чайника, нежели о его прекрасной ручке и о великолепном носике. Чайник знал это.

«Знаю я их!» рассуждал он сам с собою. «Знаю и сознаю и свой недостаток, – я скромн, смиренн! Недостатки у всех у нас есть, но у каждого есть зато и свои преимущества. У чашек есть ручка, у сахарницы – крышка, а у меня и то и другое, да ещё кое-что сверх того, чего у них никогда не будет – носик! Благодаря ему, я – король всего чайного стола. Сахарнице и сливочнику тоже выпало на долю усладить вкус, но я – главный; я утоляю жажду людей; во мне кипящая безвкусная вода перерабатывается в китайский ароматный напиток!»

Всё это говорил чайник в пору беспечальной юности. Тогда он стоял на накрытом столе; чай разливала тонкая изящная ручка, но не ловка́ она была, чайник выскользнул из неё, упал и – носика как не бывало, ручки тоже, о крышке же и говорить нечего, – о ней сказано уже довольно. Калека-чайник без чувств лежал на полу, горячая вода бежала из него ручьём. Ему был нанесён тяжёлый удар, и тяжелее всего было то, что смеялись-то не над неловкою рукою, а над ним.

«Этого мне никогда не забыть!» говорил чайник, рассказывая впоследствии свою биографию самому себе. «Меня прозвали

калекою, ткнули куда-то в угол, а на другой день подарили женщине, получавшей обыкновенно остатки со стола. Пришлось мне попасть в бедную обстановку, стоять без пользы, без всякой цели – и внутренней и внешней. Но вот стоял я, стоял, и вдруг – для меня началась новая, лучшая жизнь. Да, бываешь тем, а становишься совсем иным. Меня набили землёю, – для чайника это то же, что быть зарытым в землю, но в эту землю посадили цветочную луковицу. Кто посадил, кто подарил её мне, не знаю, но она была дана мне взамен китайской травки, взамен кипятка, взамен отбитой ручки и носика. Луковица лежала в земле, лежала во мне, стала моим сердцем, моим живым сердцем, какого прежде во мне никогда не бывало. И во мне зародилась жизнь, закипели силы, забился пульс; луковица пустила ростки; она готова была лопнуть от избытка мыслей и чувств. Они и вылились в цветке! Я любовался на него, я держал его в своих объятиях, я забывал себя самого ради его красоты. Какое блаженство забывать себя самого ради других! А цветок даже не сказал мне за то спасибо, он и не думал обо мне, – ему все удивлялись, им все восхищались, и если я был так рад этому, то как же должен был радоваться он сам? Но вот, однажды, я услышал слова: «такой цветок достоин лучшего горшка!» Меня разбили... Ужасно было больно! Зато цветок пересадили в лучший горшок! Меня же выбросили на двор, и я теперь валяюсь там, как старый черепок, но воспоминаний моих у меня никто не отнимет!»

^[1] Горденёк – гордый, преисполненный гордости.



 Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Подснежник

Зима; холодно; ветер так и режет, но в земле хорошо, уютно; там и лежит цветочек в своей луковице, прикрытой землёю и снегом.

Но вот выпал дождь; капли проникли сквозь снежный покров в землю к цветочной луковице и сообщили ей о белом свете, что над нею. Скоро пробрался туда и солнечный луч, такой тонкий, сверлящий; он пробуравил снег и землю и слегка постучался в луковицу.

– Войдите! – сказал цветок.

– Не могу! – ответил луч. – Я ещё слаб теперь, и мне не раскрыть луковицы! А вот к лету я соберусь с силами!

– А когда будет лето? – спросил цветок и спрашивал то же самое у каждого нового гостя – солнечного луча. Но до лета было ещё долго; снег ещё не весь стаял, и лужицы каждую ночь затягивало льдом.

– Как это долго тянется! – говорил цветок. – А мне просто не сидится на месте! Хочется потянуться, вытянуться, раскрыться, выйти на волю, повидаться с летом! То-то блаженное времечко!

И цветок потянулся в своей тонкой скорлупке, размягчённой водою, согретой снегом и землёю, пронизанной солнечными лучами. Скоро из земли, под снегом, пробился зелёный стебелёк с светло-зелёным бутонем, окружённым, словно ширмочкой, узенькими, толстенькими листками. Снег был ещё холодный, но весь залит лучами солнца, – он был уже настолько рыхл, что им легко было пробиться сквозь него, да и сами они стали теперь сильнее.

– Добро пожаловать! Добро пожаловать! – запели они, и цветок выглянул из-под снега. Солнечные лучи ласкали и целовали малютку, так что белоснежная с зелёными жилками чашечка его совсем раскрылась. Радостно и скромно склонил он головку.

– Милый цветочек! – пели солнечные лучи. – Как ты свеж и нежен! Ты первый, единственный! Ты наше возлюбленное дитя! Ты

возвещаешь лето, чудное лето! Скоро весь снег растает, холодные ветры унесутся прочь! Царствовать будем мы! Всё зазеленеет! И у тебя появятся подружки: зацветут сирень и жёлтая акация, а потом розы, но ты всё-таки первый, такой нежный, прозрачный!

Вот была радость! Казалось, самый воздух пел и звучал, солнечные лучи проникали в самые лепестки и стебелёк цветка. И он стоял, такой нежный, хрупкий и в то же время полный сил, в пышном расцвете юной красоты, такой нарядный в своём белом платье, с зелёными ленточками, и славил лето. Но до лета было ещё долго; облака закрыли солнышко, подули холодные, резкие ветры.

– Рановато ты появился! – сказали они цветку. – Сила ещё на нашей стороне! Постой, мы зададим тебе! Сидеть бы тебе да сидеть в тепле, а не торопиться франтить на солнышке, – не пришло ещё время!

Холод так и щипал. Дни шли за днями, а не показывалось ни единого солнечного луча. Нежному цветочку хоть замерзнуть было впору. Но он был сильнее, чем подозревал сам; его укрепляла радостная вера в обещанное лето. Оно должно было скоро прийти! Недаром же о нём возвестили солнечные лучи. Цветок твёрдо верил их обещанию и терпеливо стоял на белом снегу в своём белом наряде, склоняя головку под тяжёлыми, густыми хлопьями снега; вокруг него бушевали холодные ветры.

– Ты сломишься! – говорили они. – Завянешь, замёрзнешь! Что тебе надо было тут? Зачем ты дал себя выманить? Солнечный луч обманул тебя! Вот и поделом тебе теперь! Эх, ты, подснежник!

– Подснежник! – прозвучало в холодном утреннем воздухе.

– Подснежник! – ликовали дети, выбежавшие в сад. – Вот тут растёт один, такой миленький, прелестный, первый, единственный!

И слова эти пригрели цветок словно солнечные лучи. От радости он даже не почувствовал, что его сорвали. Он очутился в детской ручонке, детские губки целовали его. Потом его принесли в тёплую комнату, полюбовались на него и поставили в воду. Цветок ожил, возродился к жизни, подумал, что вдруг наступило лето.

У старшей дочери, прелестной молодой девушки, – она уже была подтверждена – был друг сердца; он тоже был подтвержден и теперь проходил курс наук.

– Вот пошучу с ним! Он подумает, что у нас уже лето! – сказала девушка, взяла нежный цветочек и положила его в душистый листок бумаги, на котором были написаны стихи о подснежнике. Они начинались словом подснежник, а кончались словами: «Теперь, дружок мой, ты на всю зиму останешься дурачком!» Да, вот что говорилось в стихах, которые она послала другу вместо письма. Цветок очутился в конверте; как там было темно! Он точно опять попал в луковицу! И вот, он отправился в путь, побывал в почтовой сумке, его тискали, комкали; приятного тут было мало, но и этому пришёл конец.

Письмо дошло по назначению; его распечатали и прочли. Друг сердца был так доволен, что расцеловал цветок и спрятал его вместе со стихами в ящик. Там лежало много таких же дорогих писем, но все они были без цветов; этот явился первым, единственным, как называли его солнечные лучи, и цветок не наравовался этому!

А времени радоваться было у него довольно: прошло лето, прошла и длинная зима, снова настало лето, и тогда только его опять вынули. Но на этот раз молодой человек не был весел и так сердито принялся рыться в письмах и бумагах, что листок со стихами полетел на пол, и подснежник выпал из него. Правда, он высох и сплюснулся, но из-за этого не следовало всё-таки швырять его на пол! И всё же лежать на полу было лучше, чем сгореть в печке, куда угодили все письма и стихи. Что же случилось? То, что часто случается. Подснежник обманул молодого человека – это была шутка; девушка обманула его – это уж была не шутка. Она избрала себе летом нового друга сердца.

Утром солнышко осветило маленький сплюснутый подснежник, смотревший словно нарисованным на полу. Девушка, подметавшая пол, подняла его и вложила в одну из книг на столе; она думала, что нечаянно выронила оттуда цветок, приводя стол в порядок. И вот, цветок снова очутился между стихами, но на этот раз напечатанными, а они, ведь, важнее написанных, по крайней мере обходятся дороже.

Прошли годы; книга всё стояла на полке; но вот её взяли, открыли и стали читать. Книга была хорошая: стихи и песни датского поэта Амвросия Стуба; с ними стоит познакомиться. Человек, читавший книгу, перевернул страницу.

– Подснежник! Недаром его положили сюда. Бедняга Амвросий Стуб! Ты тоже был подснежником среди своих собратьев! Ты явился слишком рано, опередил своё время, и тебя встретили буйные ветры и непогода. Пришлось тебе скитаться из дома в дом, от одного фионского помещика к другому, разыгрывая роль цветка в стакане с водою, или вложенного в рифмованное письмо! Да, и ты был подснежником, обманчиво возвестившим лето, недоразумением, шуткой, но всё же ты был первым, единственным, дышащим юношескою свежестью, датским поэтом. Оставайся же тут, подснежник! Ты положен сюда недаром.

И подснежник опять положили в книгу; он был и польщён и обрадован, узнав, что положен в это прекрасное собрание песен недаром, и что сам певец был таким же подснежником, над которым подшутила зима. Подснежник понял всё по-своему, как и мы всякую вещь понимаем по-своему.

Вот и вся сказка о подснежнике.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...